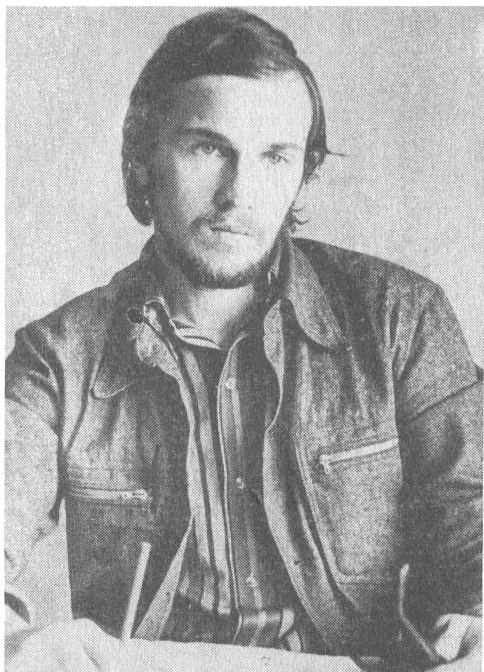


АЛЕКСАНДР МЕСИТОВ

ДОЖДИ В АВГУСТЕ

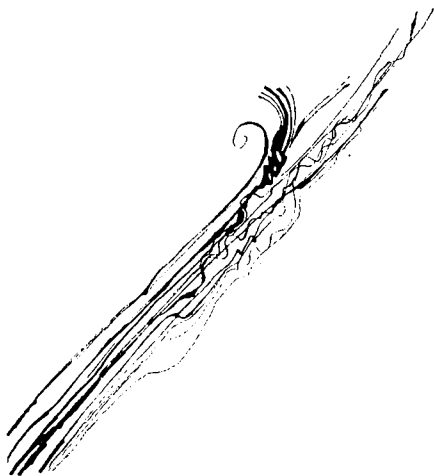


Родина Александра Меситова — Тула. До окончания в 1978 году факультета журналистики Московского государственного университета он работал на шахте, служил в армии. Последние годы живет в Нарьян-Маре, является ответственным секретарем газеты «Няръяна Вындер». Был участником VII Всесоюзного совещания молодых писателей, публиковался в «Литературной России», «Литературной учебе», коллективных сборниках «Мы из МГУ» («Молодая гвардия») и «Поколение» («Художественная литература»).

АЛЕКСАНДР МЕСИТОВ

ДОЖДИ В АВГУСТЕ

РАССКАЗЫ



Архангельск
Северо-Западное
книжное издательство
1985

P2
M53

Меситов А. М.

M53 Дожди в августе: Рассказы.— Архангельск: Сев.-Зап. кн.
изд-во, 1985.— 126 с.

M 4702010200
M157(03)—85 Без объявления.

P2
ББК 84P7

ДОЖДИ В АВГУСТЕ

Тяжелый, плотный ливень сорвался с клубящихся колдовских небес и рухнул на землю. И тотчас закипели, яростно заклокотали лужи. Белые чертеньята и стеклянные кузнечики запрыгали по асфальту, в золотом свечении редких лучей заиграли в воздухе алмазные нити. Травы воспрянули навстречу дождю. А тополь с обломанной верхушкой словно присел, опустив поникшие от сырости листья.

Грустно и сладко стоять у низенького подъезда материнского дома, отрешенно смотреть сквозь ливень на пустую улицу шахтерского поселка, на одинокого мальчика в синем костюмчике, ведущего за руль велосипед и совсем не обращающего внимания на погромыхивание небес, на крупный тяжелый ливень... Ему, наверное, мучительно сладко под этим августовским дождем, как мне мучительно сладко вспоминать ливни моего детства, которые уже давным-давно впитала в себя земля.

Зачем я стою у подъезда? О чем я жалею, чего я хочу? Эхо моего детства... Я явственно слышу твой серебряный звоночек и смотрю вдаль — туда, где раньше находились шахта и террикон, к которому я бегал встречать со смены отца, и в ожидании его подолгу разглядывал огромные колеса, медленно крутящиеся над копром. Где эта шахта? Она уже давно выработалась, и террикон срыт. Где мой отец? От него осталась только фотография, на которой он, молодой и красивый, смеется, сидя за столом со стаканом пива в руке. Где наша счастливая и веселая жизнь без денег, в вечных нехватках, в неумении ловчить и приспособливаться? Она магнитом тянет

меня из моей сегодняшней сытой, обеспеченной и устроенной жизни. Тянет к тем воскресным дням, когда вся наша большая семья усаживалась за праздничный стол, соревнуясь в нехитрых шутках и ожидая румяный пирог с капустой.

Память детства... Она нахлынула на меня, вернувшегося в материнский дом в день своего тридцатилетия, вызванная этим августовским ливнем, пляшущим по маленькому садику с розовыми, чопорными, как старые девы, мальвами и по четко вырисовывающейся при входе в соседний сквер серебристой фигуре шахтера с облупившимся отбойным молотком на плече.

СРЕДИ МЕЛЬКАНЬЯ ДНЕЙ

Это было давно, когда я был еще мальчиком и когда меня привезли к моей тетке в деревню, неподалеку от Тулы. Я впервые жил в деревенском доме, впервые ходил по старому саду меж корявых яблонь с отягченными ветвями и ржавых вишневых деревьев, на стволах у которых тускло поблескивала янтарная смола, клейкая и стеклянная. И старый ободранный пес по кличке Колдун ходил следом за мной, нюхал мои новые сандайки и тыкался холодным посом в мои пятки. Все было необычно и странно, и от этого мне стало грустно и хорошо. Я ходил по саду, вдыхая в себя воздух, пахнувший яблоками, мокрыми листьями и бузиной, и все пытался и никак не мог понять, отчего мне так хорошо и одновременно грустно.

А потом тетя нарвала мне полную чашку красной смородины и поставила ее передо мной. Я сидел на каком-то ящичке под вишней, брал из алюминиевой чашки тонкие веточки с нежными хрупкими шариками, опускал их себе в рот и, прижав зубами, тихонько протаскивал стебелек назад так, что все ягоды отрывались и скатывались по языку. Придавливая их языком к небу, я ощущал тонкий, приятно-кисловатый вкус.

Я ел смородину, а Колдун сидел напротив и по-собачьи хитро улыбался: мол, давай-давай, наворачивай, будет мало — еще нарвем.

Вечерело. Воздух густел и низко над землей казался зеленоватым. Где-то далеко женский голос звал: «Шу-у-р-ик! До-мо-ой!» И солнце алым колесом скатывалось за крышу и плавило небо.

Все, что было вокруг меня — и этот волшебный свет, и старый сад, и обнимающие меня за плечи вишневые тонкие ветки, — словно растворилось во мне, наполняя какой-то необъяснимой радостью.

Потом жизнь снова покатилась, как колесо, обыденно

и быстро. Я учился в школе, в техникуме, работал в шахте, писал рассказы...

И вот через двадцать пять лет после того памятного вечера в тульской деревне я вместе со своим приятелем оказался на Рязанском автовокзале. Последний автобус на Тулу ушел полчаса назад, и немилосердное майское солнце палило наши головы, мешая сосредоточиться и принять решение, что же нам делать: то ли ехать на попутках, то ли до вечера погулять по Рязани, переночевать на вокзале, а рано утром уехать.

— Знаешь, что... — сказал вдруг Виктор. — Я придумал: мы сейчас едем в Солотчу.

Мы торопились, спешили весь день, впрочем, как и во многие другие дни нашей жизни, но в Солотче вся эта суета отступила и покой разлился вокруг...

Шла реставрация монастыря. Сторож сидел у входа, курил и, казалось, поджидал нас.

— Переночевать? — спросил он. — А почему бы нет! Ежели есть охота, положу вас в братской келье.

И он отвел нас в приземистое, вросшее своими каменными корнями в землю здание. В небольшой келье, где стояли две солдатские койки, мы оставили вещи и направились поужинать, расспросив предварительно сторожа, где это можно поблизости сделать.

Кафе «Елочка» оказалось обыкновенной деревенской избой, правда, она была несколько пошире обычных домов и попросторнее. На порошке сидела девушка в белом переднике. Она сидела, прислонившись к стояку крыльца, тербила снятую с головы белую косынку и рассеянно-задумчиво смотрела куда-то вдаль. Девушка думала о чем-то своем, наверное, очень хорошем и чуточку грустном.

— Вы покормите нас? — спросили мы.

— Ой, ребята, — сказала она, даже не взглянув на нас (ей, наверное, не хотелось отрываться от своих мыслей), — там на кухне все есть. Поешьте сами. Все, что

найдете — все ваше. Тут она взглянула на нас и хорошо улыбнулась.

Мы прошли в зал, я сел за стол, а Виктор принес из кухни две тарелки с дымящимся картофелем и жареную курицу. Потом он опять исчез и появился через пару минут с темной бутылкой вина.

Виктор разливал в тяжелые стаканы темно-красное вино и что-то говорил о Мещере, о своей любви к этому краю и к воспевшему его в своих произведениях Паустовскому. Потом мы молча пили это хорошее, слегка вяжущее рот вино. Оно было того же цвета, что и закат за окном. И этот густой красный закат, и весь этот тихий, напоенный покоем вечер наполнили меня той удивительной радостью, которую я ощутил в детстве, когда гостил у тети в деревне.

Мы сидим под землей на глубине восьмидесяти метров, ждем порожняк и курим в рукав. Оранжевая искра отрывается от моей сигареты, опускается на влажную рельсу и, мерцая крохотной звездочкой, долго не гаснет.

— Нельзя в других рудниках, а у нас можно. Кури-кури, практикант, — учит меня Барышев.

— Кури-кури, — передразнивает его десятник Михалыч, протирая белой тряпочкой свои очки и щуря подслеповатые глаза, — вон свои зубы уже прокурил.

Барышев улыбается, выставляя напоказ железные зубы, и моргает. Когда Барышев моргает, все ждут. Ждут хохму. И Барышев выдает:

— Скрылся месяц в облачках, появился хрен в очках!

Все гогочут. Гогочет и Михалыч, блестят его круглые очки и белые зубы. От смеха трясутся все сто пятнадцать кило нашего десятника. Скокунов даже плачет, размазывая рукой по лицу слезы и угольную пыль. Быков икает, давится от смеха и еле-еле выговаривает только одно — «в очках». И снова все хохочут и трясутся. Один Алферов улыбается сдержанно. Он плюет на окурки и тщательно вдавливая его в кусок глины.

Образования у Барышева «всего три класса с коридором», как он сам говорит, но Барышев знаменито ругается стихами, особенно с Быковым. Оба худющие, жилистые; стойку волокут, а сами друг друга рифмованным матом поливают, да притом так гогочут, что на откаточном штреке слышно.

И еще одна знаменитость нашего участка — толстый и рыжий немец Оскар. Говорят, он попал в плен в сорок втором, да так и остался в России. Когда Самойлов,

инженер по технике безопасности, спросил его: «Ваши действия на случай пожара?», Оскар ответил: «О, это мы знаем, знаем. Паночку-самодых на плечо — и на-гора». Самодыхами мы все называем самоспасатели.

— Слышь, Саньк? — говорит Барышев, — ты что так задумался? Вот ты в техникуме учишься, значит, все знаешь. А вот болезнь такая есть шахтерская, селикоз называется — отчего она? А?

Я наивно отвечаю:

— От пыли.

— Поцелуй под хвост кобыле, — с удовольствием подхватывает Барышев.

И Скокунов уже снова размазывает пятерней грязь по лицу. А Оскар хлопает себя по ляжкам и кричит: «Вундербар! Здорово!»

Но коротко рычит «ревун», это моторист с откатки дает знать, что порожняк подан, и мы бежим на лаву. И снова медленно ползет комбайн, крутятся шнеки, грызут уголь, и дымящееся черное месиво плывет по решёткам, по ленте и там на откатке кормит ненасытные вагонетки. На откатке тихо. А здесь все крутится, вертится, гудит. Какое-то вечное движение до тех пор, пока не кончается порожняк.

Когда Алферов останавливает комбайн, сразу наступает глухая тишина.

— Ребята! — кричит с запасного штрека Михалыч. — Ребята! Давай сюда!

Мы, нагнувшись, чтобы не задеть низкие козырьки креплений, идем на запасной.

— Давай рельсы оттащим. Ремонтники хреновы отдрали, а носить — бабушка, — плюется Михалыч.

— Да, — соглашается Алферов, — еще раз лаву пройдем — и мешать будут.

— А ты бери ее, бери, а не уговаривай, как бабу. — Барышев надевает рукавицы. — Да только не висни на рельсе-то.

— А будешь виснуть, ногами не дрыгай,— добавляет Быков.

— Раз-два!

Мы хватаем восьмиметровую рельсу и, водрузив ее себе на плечи, семеним к откатке. Я иду в середине, и сразу же сказывается то, что я выше всех: рельса впи-
вается мне в плечо, давит, подгибая ноги и уравнивая со всеми. От последней рельсы я совсем дурею, хотя и под-
кладываю под нее обе рукавицы. Когда бросаем ее
на землю, у меня уже нет сил отскочить. Спасибо — Ба-
рышев успел оттолкнуть.

— Эх, ты, повидла,— незло говорит он.

Мы садимся на чистенькие доски, сладко пахнущие
опилками и морозом, снимаем каски и вытираем потные
грязные лбы.

— Хреново,— говорит Михалыч,— что-то порожняк
сегодня...— и не договаривает — лень.

И тогда в разговор вступает Алферов:

— А вот когда я работал в колхозе, возил на лошади
молоко...— Все истории Алферова начинаются с этой
фразы. — Поехал мужик из нашей деревни на двадцать
шестую шахту за горбылем. А было это после войны.
Зимой, значит, было. Ага! А он в шинели. Ходит, смот-
рит все. А ствол открыт был, и клеть навверх поднята.
Загляделся, ядрена мышь,— в ствол и загудел. — Ал-
феров высморкался для паузы и радостно добавил: —
Вить жив остался мужик-то тот. Шинель его, будто па-
рашют, надулась колоколом, и мужик спокойно того...
Вот так вот.

— А что, бывает, — соглашается Скокунов. — Вот у
меня отец как? — продолжает он уже о своем. — Отец у
меня будь здоров мужик был, и Скокунов сжимает свой
рыжий кулак, показывая, какой у него был отец. — Здо-
ровый мужик был. Хряк у нас пудов на пятнадцать в
погреб упал. Так батя его вожжами обмотал и выволок.
Это еще когда мы в деревне жили. А потом отец на

шахты поехал. Да...— вздыхает Скокунов и крошит в руках сухую колмышку угля. — Три года только и поработал. Чувствовал батя, что помереть ему скоро. Мне-то тогда лет двенадцать было, но помню хорошо, как стал за неделю мой Василь Лаврентьевич рассказывать, будто зовет его кто-то. Как спустится в шахту, так будто кто женским голосом и зовет. А через неделю, в тридцать шестом, в августе... Дай-ка, Иван, беломорину. — Скокунов закуривает, и дым медленно и душисто уплывает по запасному штреку. — Встал утром рано. «Побриться, — говорит, — что ли?» Побрился. Рубаху чистую надел. «Проводи», — говорит матери. А она ему: «Да ты что, Василий, удумал? Проводи... Да у меня дел непочатый край». А он свое: «Проводи, — говорит, — все равно ребята спят». У самой раздевалки мать поцеловал — и вниз. А там обычное дело: подваливали лаву, и она пошла гулять. Трех человек накрыло. Да...

Мы сидим и молчим. Я опасно кошусь на кровлю, — Не бойсь, — хлопает меня по плечу Барышев, — эта не загуляет.

...В душевой жесткими капроновыми мочалками мы смываем с себя усталость. Барышев крутит в намыленных ушах пальцами и рассказывает Алферову анекдот про мельника и попову дочку.

— Так-так-так, — время от времени говорит Алферов и трет себя под мышками.

Тонкие струйки воды щекотно пляшут по моей голове, плечам и мутными потоками стекают на ослепительный кафельный пол. За порядок в душевой отвечает уборщица Дуся, здоровенная пятидесятилетняя хохлушка, которую за крутой нрав и атлетические данные зовут Евдокимом Ивановичем. Дуся без всякого смущения заходит в душевую, когда она полна голых мужиков. Она вываливает в специальные ванночки куски мыла и прочищает засорившийся сток.

— Дуся, я дуплюся! — кричит ей сквозь шум душевой Барышев.

— Я те отдуплюся, — рокочет Дуся.

Но Барышев не унимается, улыбаясь железными зубами:

— Коня на скаку остановит и шею ему оторвет!

* * *

Морозным утром мы топчемся на остановке и ждем наш спецавтобус. Все курят. Кто-то рассказывает, сколько вчера было выпито вина, кто-то про вчерашний хоккей. Из-за дома с вывеской «Хозтовары» появляется Оскар.

— Wie geht es Ihnen? — кричу я заученную еще со школы фразу.

— Danke, gut! — говорит, приближаясь, Оскар и жмет каждому по очереди руку. — Как здороф отец? — спрашивает он меня.

— На рыбалку поехал отец, — говорю я.

— Ага, — вмешивается Алферов, — окуни щас на мормышку — у-у, — он жмурится и с наслаждением продолжает: — жирные, круглые, как лапти.

Алферов страстный рыболов и каждую субботу зимой и летом с удочками и старой хозяйственной сумкой отправляется на Иван-озеро.

Автобус берем на «ура», потому что мест всем не хватает. И когда он уже трогается, на ходу вскакивает Быков. Я сижу рядом с Барышевым, и он кричит:

— Иван, ты что опять у стенки? Не примерзнешь к стенке-то?

Автобус смеется и курит, курит до того, что у меня аж першит в горле. Ехать минут тридцать. Барышев де-

* — Как дела? (нем.).

** — Спасибо, хорошо. (нем.).

дает вид, будто хочет лечь мне на плечо, и нарочно вскрикивает:

— Ой!

— Петро, ты что?

— Что? Что ты, Петь? — спрашивают его.

— Испугался, — говорит Барышев и моргает.

— Чего испугался? — спрашиваю его.

— Думал, собака, — смеется Барышев и показывает на мои длинные волосы. И все опять хохочут. Я тоже улыбаюсь.

Мне нравится, что ехать долго. Сразу же за городом начинается березовая роща, и мы мчимся навстречу холодному розовому солнцу. Высокие тугие березы мелькают по обе стороны, и от этого мелькания все как-то сразу притихают. Только картежники, веселые ребята с проходки, ожесточенно режутся в «козла».

После наряда мы натягиваем робы, получаем в ламповой аккумуляторки и самоспасатели и идем к стволу. Когда заходим в клеть, разговоры прекращаются, и только молчаливо зажигаются на касках лампы. Клеть мягко вздрагивает и бесшумно скользит в глубину бетонного колодца, по стенкам которого стекают струйки грунтовых вод. Где-то этими слезами плачет водосборник.

— Цоб-цобе, — говорит Барышев, — приехали!

Мы выходим, пересекаем чистенький околоствольный двор и сворачиваем на темный вентиляционный штрек. По этому штреку ходят люди и гуляет свежий воздух, разнося свое дыхание во все сбойки, лавы, тупики. Я думаю о том, что на вентиляционном пахнет разрезанным арбузом, а в лаве — лесными грибами. Наверное, это от влаги, Михалыч говорит, что с ним было то же самое, но это все только в первые месяцы, потом привыкаешь.

— Арабский, арабский, — ворчит вдруг Скокунов, — хоть и арабский, а дерьмо.

— Ты что там гудишь, как худая труба? — спрашивает Быков.

— Да я про ром говорю. Вчера заходит ко мне сосед и говорит, в магазин ром арабский привезли, «Негро» называется. Говорит, выпьешь, и клубничкой отрыгивается. Ну, послал я Нинку свою. Принесла. Выпил кружку, посидел-посидел — никакой клубнички. Пошел дверь в сарае починил. Вернулся, допил этот ром и лег спать. Так себе, ни уму, ни сердцу. Клубничка...

— Вот канитель, — возмущается Барышев, — да тебе, медведю, и пульмана мало будет.

И снова мы молча шаркаем своими резиновыми сапогами. Впереди меня идет Алферов, он тоненько запевает:

— Ой, зарница, ты, зарни-и-и-ца...

— Из кустов выползает озорница, — вставляет свое Барышев.

— Тыфу, — плюется Алферов и замолкает. Обиделся.

За мной идет наш моторист Ля, пожилой деревенский мужик, который пришел в шахту большую пенсию зарабатывать. Его я вижу только перед работой на наряде, а в остальное время он сидит на своей откатке и нажимает кнопки. Когда его оформили на участок, Барышев спросил:

— Как же зовут тебя, дядя?

Мужик хитро улыбнулся и сказал:

— На букву «ля» зовут.

— Это как же на «ля»? — удивился Скокунов.

— Ляксе́й я.

Мы приходим в тихую лаву, и Алферов запускает комбайн. Комбайн упирается, и оба колеса шнеков режут пласт, высекая искры из колчедана. Оскар и Скокунов передвигают гидравлические крепи, которые держат на себе восемьдесят метров глины, известняков, песка, воды и, наконец, земли, на самом верху которой спит изумрудная трава, накрытая снегом.

Я беру лопату и иду вдоль километровой, полной углем ленты, которая, поскрипывая роликами, плывет на откатку. Вообще-то я числюсь в смене электрослесарем, но мне не часто везет: поломки бывают редко. Поэтому я хожу с лопатой, зачищая кучки угля на пересыпах с ленты на ленту. Пока у последнего пересыпа прекращаешь такую «муравьиную кучу», у первого уже выросла новая. И так все время.

Я поднимаю колмышку угля, она сухая, ее тонкие спрессованные пласты легко отделяются один от другого. На этих черных сухих пластинках хорошо видны отпечатки каких-то растений, похожих на водоросли.

Интересно получается. Вот здесь, где сейчас стоит моя нога, были когда-то болота, на которых грелись под солнцем эти растения. Их затянуло илом, песком, миллионы лет они лежали в земле, а теперь я трогаю отпечаток этой веточки. Как странно.

* * *

Лава неожиданно останавливается. Тишина такая, что слышно, как бьется сердце. Я забираю сумку с набором ключей и иду в лаву, но кто-то уже бежит мне навстречу — кажется, это Алферов.

— Ну, что у вас там? — кричу я.

Но Алферов не похож на себя.

— На запасном Барышева и Оскара завалило, — кричит он. — Через лаву не пролезть. Бежим через откатку!

Мы пригибаемся и бежим по бортовому на откатку. «Как же так? — думаю я, — как же так. Барышев и Оскар? Вот тебе и баночку на плечо и на-гора».

Когда мы выскакиваем на откатку, моторист Ля пугается нас. Алферов не может никак отдышаться, но говорит как можно спокойнее:

— Позвони диспетчеру, скажи, у нас обвал на запасном... Барышев и Оскар... Вызови спасателей...

Моторист Ля бледнеет и хватается за телефон, а мы бежим по сбойке на запасной.

«Скорее, скорее,— думаю я и бегу,— главное, быстрее, они еще живы». Сердце колотится, в сапогах бежать трудно.

— Они ведь еще живы, Семен? — кричу я Алферову.

Он молчит, только свет наших ламп мечется по деревянным стойкам.

Когда мы подбегаем, я вижу, как яростно крепят у самого завала Скокунов и Быков, а Михалыч подтаскивает стойки. Поперечные крепления переломаны, как спички, их огрызки свисают сверху посреди штрека, и оттуда тихо струится песок-пływун. Алферов с ходу хватает лесину, и они вместе с Михалычем тюкают топорами. Я стою обалделый и не знаю, что делать.

«Почему же это так? Почему они не разбирают завал? Почему не спасают Барышева и Оскара? Боятся, что ли, что и нас завалит? Боятся, что песком затянет лаву и комбайн? А Барышев и Оскар вот за этой кучей песка задыхаются».

— Михалыч — кричу я. — Там же Барышев, дядя Ваня!

Я бросаюсь к куче и копаю этот холодный песок руками, он летит в глаза, и я не пойму: то ли я плачу, то ли просто больно глазам.

— Не замай! — кричит Скокунов и отпихивает меня. Но я опять бросаюсь к куче, и песок лезет мне в рукава, под ногти.

— Уйди, — кричит Скокунов и хочет схватить меня за шиворот, но я кидаюсь в сторону, выбиваю стойку, каска соскакивает с головы, и зыбкая лавина рушится на меня. Я хочу вскочить, но мне становится тяжело и холодно. Я хочу закричать, но песок набивается в рот, душит меня, и ничего не слышно...

Высоко летают стрижи... Я бегу по воздуху, вязкому и густому, как мед.. Почему-то желтые подсолнухи... Много подсолнухов, которые постепенно раздваиваются и превращаются в оранжевые, красные, багровые...

— Мама! Включи свет! Почему так темно? Мама!!

* * *

Мы лежим в палате. Вернее, лежит Барышев, а мы с Оскаром сидим. Мы играем в шахматы. Барышев весь закован в гипс, и на верхнюю губу его наложен шов с аккуратным узелком.

— Это чтобы я vareжкой не щелкал,— говорит Барышев,— вот мне и зашили.

Железные зубы Барышева остались там, в завале. Слова его теперь шипят и свистят. Рядом с Оскаром стоят костыли. У меня сотрясение мозга, и меня тошнит.

— Я не могу больше, меня тошнит,— говорю я Оскару.— Пойду, полежу.

Я ложусь на кровать и закрываю глаза.

Вчера был приемный день, приходили все наши. Скокунов все просил прощения, что тряхнул меня. Теперь я все прекрасно понимаю. Главное после завала— это закрепиться, чтобы лава не пошла гулять дальше.

— Тогда бы нас всех накрыло,— сказал Михалыч.

— Да, тогда бы нам хана,— заверил Барышев.

А Скокунов все свое:

— Ну, а ты, сынок, под горячую руку... Ты уж прости, ты не обижайся, нам никак обижаться нельзя. Нам во как надо,— и опять Скокунов показывает мне свой рыжий кулак. А потом сует промасленный сверток.— Там пирожки с повидлом. Много, двадцать штук.

— Спасибо, Скокунов,— благодарю я.

А тут и Алферов, и Быков, и Михалыч стали совать мне свертки, пакетики, кулечки и банку компота. В палате я открыл этот компот— в бледно-фиолетовой жидкости плавали три сливы,— понюхал и отдал Барышеву.

— Вундербар! — обрадовался Оскар и достал стакан. А Барышев поморгал глазами и растроганно сказал: — Это Быков. Хитрый черт!

Потом приходили мои родители. Мать все плакала и просила, чтобы я заканчивал техникум, но в шахту больше ни-ни. Отец стоял и молчал, а когда я вопросительно взглянул на него, подмигнул мне. Мать увидела это и накинулась на него.

— Тебе мало, мало? — плакала она. — Хватит, за тебя всю жизнь дрожала. Сколько ночей глаз не сомкнула! Ты в ночную смену, а я до утра у окна. Спасательную машину увижу — целый день ничего делать не могу.

Раньше отец был напарником Барышева, теперь он инвалид. Это отец посоветовал мне пройти практику на участке, где Барышев, Михалыч, Быков и все-все наши.

Отец приходил каждый день, и в неприятные дни тоже. Помолчит под окном, покурит, помашет рукой и уйдет. А сегодня стоял-стоял и заплакал. Я ему кричу:

— Ты что плачешь?

А он только головой машет — не буду. Я ему опять кричу:

— Не плачь, работать буду — мотоцикл тебе куплю. Будешь с шиком на рыбалку ездить, а велосипед твой выбросим. Честное слово, куплю! Ты же знаешь, сколько шахтеры зарабатывают...

А он и плачет, и улыбается, и мнет пальцами горячий окурочек. Красные искры крутятся вокруг него, опускаются на снег и долго не гаснут.

Население этого старинного русского города к концу 1926 года составляло 155 тысяч человек. И казалось, что все 155 тысяч — оружейники, самоварщики, гармонщики, пряничники, металлисты — собирались на воскресные базары. В этой толчее можно было купить все что угодно: старинный самовар с петухами, кусок буженины, ведро угля, пальто с роскошным песцовым воротником, крынку холодного топленого молока или новенький вороненый револьвер с масляными патронами. Тут же приезжие мужики пили спирт-сырец и дрались кнутами. Прибегал молоденький испуганный милиционер, свистел в свой свисток и уводил захмелевших в участок. Зеваки неохотно расходились, ругая милицию. Но некоторые еще задерживались, чтобы обсудить городские новости. Говорили, что по ночам на кладбище творится неладное, что после полуночи покойники нагишом ходят по стенам и пугают запоздалых гуляк. Другие своими глазами видели, как из-под кирпичной стены показывался череп в соломенной шляпе и просил закурить. Третьи говорили, что это просто бандиты грабят прохожих. Да и не только на кладбище творились темные дела. Поэтому, когда в центре города, у стен старинного кремля, было еще полно торговых цветами, влюбленных и желающих посмотреть под открытым небом «фильму», на окраинных улочках запирали двери на все засовы, и не без причины. По ночам раздавались выстрелы, заливались милицейские свистки, и наутро узнавали, что у кого-то опять сорвали двери, обобрали до нитки и были таковы.

Сегодня ночью у Орловых сбили замок с сарая, и полпуда сала, два ведра соленых грибов и мешок яблок исчезли бесследно. Впрочем, это известие мало кого тронуло. Дом у Орловых был крепкий и ладный, а в саду созревала на зависть всем поздняя антоновка. Только

дело было вовсе не в доме и не в холодной вкусной антоновке. Семью Орловых на нашей улице недолюбливали и звали евангелистами. По утрам Орлиха выходила на крыльцо, становилась на колени и, глядя в осеннее небо, шептала что-то губами, потом вскидывала руки вверх и кричала: «Иисус, возьми меня на небо!» — и ее белые длинные волосы страшно шевелились на ветру. И тогда сопливых храбрецов сдувало с забора.

Ходили все Орловы степенно, ни с кем не здоровались. Встречаясь с соседями, смотрели вниз или в сторону. Сам Орлов не просился у Иисуса на небо, но с соседями тоже не знался. Да и редко кто его видел на улице.

Прямо за крыжовником, у забора, был цветник — в нем Орел копался целыми днями. Иногда просто подходил к цветнику, смотрел на сочные яркие цветы, тербил пышную бороду и вздыхал. А цветник переливался оттенками самых удивительных цветов. Багровые, нежно-голубые, розовые, лимонные, пепельные, пронзительно-фиолетовые, сочно-алые, белые, как снег, бледно-зеленые — все эти звезды, шары, бубенчики были волшебной сказкой. И посреди всей этой колышущейся массы возвышались упругие бархатно-черные тюльпаны.

Однажды Орел поймал в цветнике Захарову Гальку. Галька орала благим матом, а Орел одной рукой крепко держал ее за плечо, другой, не торопясь, достал из кармана кривой садовый нож. Мы ахнули и завизжали за забором. Но Орел нарезал букет пионов, отдал их Гальке и, ни слова не говоря, вывел ее за ворота.

У Орловых было две дочери. Старшая — разведенная Евдокия; у которой был розовый и вечно сопливый Родька. И днем и ночью он орал басом: упадет — орет, шмеля увидит — орет, наложит в штаны — орет.

Евдокия — вся в мать, из соседей ни с кем не зналась. А вот младшую Лену любили на нашей улице. Но дома

было, по-видимому, наоборот. «Я тебе покажу, блудница! Вот! Вот тебе», — кричала Орлиха и выбрасывала на улицу изорванные книги. Потом Лену запирали на ночь в сарае. Орел стоял рядом, молчал, хмурил сыщи брови и теребил страшную бороду. А книжные страницы вместе с красными кленовыми листьями ветер не спеша заметал в лужи.

Стояла холодная красная осень. Снег выпал ночью, и наутро было странно увидеть, как он лежал вперемешку с травой и листьями. И совсем было странно смотреть на отчаянно свежие и незамерзшие астры за забором у Орловых.

В этот день Лену опять били. Били долго и ожесточеннее обычного. Нет, она не кричала — просто мы видели, как распахнулась дверь и на крыльцо выбежала Лена, а за ней следом Орлиха со скалкой в руках. Скалкой у нас раскатывают тесто на лапшу, поэтому скалки делают тяжелее обычных. Лена, поскользнувшись, упала, но попыталась встать. Тогда Орлиха ударила ее скалкой по голове и потом — еще и еще без разбора — по спине, по худеньким плечикам... Нет, Лена не кричала, она лишь вздрагивала. А Орлиха дышала тяжело и прерывисто, и ветер часто срывал с ее губ белый парок и развевал его словно клочки тумана. Унес Лену в дом сам Орлов.

Вечером, часов уже в одиннадцать, Лена прибежала к нам опухшая, в рваном сарафанчике, босиком. Мама ахнула и бросилась к ней — и вовремя: Лена качнулась и потеряла сознание, потом начала харкать кровью. «Ах, батюшки, что же это только делается? Господи-господи, до чего девку довели. Изверги, а не родители», — причитала мама.

На следующий день Лене стало лучше — вот только болела грудь, и трудно было кашлять. «Тетя Оля, — тихо сказала она, — в комсомол я вступила». И заплакала, уткнувшись маме в передник. «И правильно, правильно,

батюшка», — гладила мама Ленины волосы. А волосы у Лены светлые, пушистые, длинные. На всей улице ни у кого не было такой косы, как у Лены. Мама гладила эти мягкие шелковые волосы и говорила: «Оставайся у нас, оставайся, батюшка. Поправишься, а там видно будет. Бог даст».

Лена прожила у нас два дня. Она почти не разговаривала, смотрела в потолок, где скрещивались трещинки, похожие на заячье ухо, и вздыхала. Ушла Лена утром на третий день. Мама и Лидия Филипповна, наша соседка, проводили ее до самых ворот с большим медным кольцом, а я смотрел на них из окна. Лена оглянулась еще раз на маму и Лидию Филипповну и взялась за отполированное руками кольцо — оно два раза глухо бухнуло.

На крыльцо в одной шали вышла Орлиха, за ней — сам Орлов. Но жена что-то сказала ему, и он скрылся за дверью. Орлиха же подошла к воротам, зло глянула в щель и впустила Лену. Я боялся, что ее опять будут бить, и сердечко мое колотилось, как у зайца. Но Орлиха взяла Лену за руку и увела в дом. Потом мама заставила меня целый вечер сидеть у окна и следить — что там у Орловых. Но я так ничего и не увидел, если не считать, что проехал угольщик, маленький такой мужичок, который, сидя на куче угля в своей плетенке, дергал вожжи и кричал: «Вот уголь! Кому уголь?» Да еще ветер колотил замерзшее белье на веревках во дворе напротив.

Больше я Лену не видел — ни на следующий день, ни через неделю, никогда. Напрасно я сидел у окна несколько дней: Лена не появлялась. Иногда выходила Орлиха в сарай, выносила оттуда в железной чашке то капусту, то помидоры. По утрам Евдокия ходила на работу. Шмыгал по двору валенками Орел. А Лены нигде не было видно.

Потом как-то пришла Лидия Филипповна и рассказала, что под чугунным мостом нашли замерзшую девушку лет шестнадцати-семнадцати и что по всем приметам это Леночка Орловых.

Так или иначе мама и Лидия Филипповна собрались и пошли в морг. В морг ходили и многие соседи с нашей улицы, и все узнали Лену. Ходила и Орлиха. Сжав губы, долго смотрела на труп и потом сказала: «Нет, это не моя дочь».

Хоронили Лену всей улицей. Гроб установили на нашем столе. Лена лежала с чуть посиневшими губами, будто она немного озябла. В окостеневших руках был зажат букетик бумажных цветов. Я закрылся в уборной и плакал, а в дом все приходили и приходили люди с нашей и соседней улиц.

Когда Лену понесли мимо ее дома, вышел только сам Орлов. Он стоял в распахнутых воротах, и сухой холодный снег кружился над его такой же белой головой. Все поворачивались и смотрели на него.

Орлиха так и не показалась. Евдокии тоже не было: она уехала куда-то с Родькой.

Ночью того же дня у Орловых загорелся дом. Ветер яростно лохматил пламя, оно гудело под раскаленной крышей, и треск сухих бревен разносился далеко вокруг.

Мы стояли с мамой у оттаявшего окна. Мама была в одной рубашке до пят, и красноватые блики плясали по этой рубашке. Мама крестилась одной рукой, а другой прижимала меня к себе.

Никто с нашей дружной улицы не попытался помочь Орловым. Дом их, похожий теперь на раскаленную духовку, сначала качнулся влево, потом, будто раздумывая, вправо, замер и... рухнул, подняв громадный сноп искр.

Пожарники приехали под самое утро и залили водой тлеющие головни. Чуть позже прибыла милиция. Челю-

век в меховой куртке и четыре милиционера растащили обгорелые бревна и что-то тщательно измеряли и записывали. Потом человек в меховой куртке зашел к нам и долго расспрашивал маму о наших соседях, время от времени делая записи в небольшой книжечке толстой красивой ручкой. Он сказал, что у двери был обнаружен сильно обгоревший мужской труп, рядом с которым валялся бак из-под керосина и старинная массивная зажигалка. Труп старухи сгорел почти полностью.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Говорухин Сергей Юрьевич, родился или в конце 1954 или в самом начале 1955 года. Точную дату я не знаю, так как в дом малютки я попал в январе 1955 года в возрасте двух-трех недель. Если двух, то, значит, я родился в пятьдесят пятом году, а если трех, то в пятьдесят четвертом. В документах мне записали днем рождения 16 января 1955 года, а я его праздную 1 января, то есть каждый новый год.

В том же 1955 году я был усыновлен Говорухиной Юлией Сергеевной, но ее почти не помню. В 1958 году она умерла, и я попал в Мелиховский детский дом.

Моя кровать стояла у окна, и так как форточка была всегда почему-то разбита, я часто простужался. А однажды мы играли в прятки, и меня закрыли в сарае. Потом я узнал, что дверь поленом приперли Малакан и Куля, которые жили по соседству с детским домом. В сарае я сидел на земляном полу почти до самой ночи, пока меня не хватились. Тогда я получил воспаление легких, и в больницу ко мне приходили девочки и приносили цветы.

Учились все детдомовцы в двадцатой школе. В 1962 году и я пошел в первый класс. Мы сидели за одной партой с Гончаровым Вовкой. У Вовки была мать, но она здорово пила, и ее лишили материнства. Вовкина мать жила на улице Войкова, и по воскресеньям Вовка ездил к ней и иногда даже привозил пироги со сливовым вареньем. Пироги были очень вкусные, но угоститься ими удавалось далеко не всегда, потому что Куля и Малакан вечером в воскресенье встречали всех, у кого в городе были родственники, и отнимали еду и деньги.

На следующий год Куля пошел работать, и они с Малаканом перестали ходить в детский дом. Но однажды Куля и Малакан встретили меня после школы. Обычно они задирались и называли меня бабой, и я

очень удивился, когда они обратились ко мне по имени и поздоровались за руку. Потом я понял, почему они это сделали. У нас над главным входом висели два громкоговорителя, которые мы называли колокольчиками. Через них из радиоузла крутили пластинки и проводили пионерские линейки. Куля и Малакан объяснили мне, что из окна пионерской комнаты громкоговоритель легко срезать.

— Колокольчики продадим лабухам. Они из них усилители сделают,— сказал Малакан.

— А башли в копилку положим,— добавил Куля, щелкнув себя по горлу указательным пальцем, и глаза его от смеха стали совсем-совсем узкими — одни щелочки.

Они хотели, чтобы я украл колокольчики, а они продали их гитаристам — таких ансамблей у нас в городе было много, а денег на настоящий инструмент у них не хватало.

Я должен был встать в три часа ночи, срезать громкоговорители и бросить их за забор у столовой в бузину. Я согласился, так как боялся не послушаться Кулю и Малакана. Но я не хотел воровать у своих же ребят колокольчики.

На другой день я отпросился с последнего урока: сказал, что у меня болит голова, и дал Пете-Феде (нашему Петру Федоровичу) потрогать лоб, который натер себе рукавом. Я знал, что Куля и Малакан будут ждать меня, поэтому и ушел из школы раньше. Так я избегал встречи с ними дней пять, но они поймали меня перед уроками и долго били за школой, там, где растет сирень. У Малакана было в руках «мочало» — это такая резиновая трубка, внутри которой свинец. Когда бьют «мочалом», следов не остается, но отбиваются внутренности. Малакан бил меня и по животу и по голове, а когда я упал, Куля, обозлившись, выхватил из кармана пассатижи и стал тыкать меня ими под ребра и в бок.

Когда Малакан и Куля наконец оставили меня, я был не в силах подняться и лежал на земле, но не плакал. И было как-то тихо-тихо, и пчела рядом со мной жужжала на кашке. Болела голова, и немного тошнило. Вот тут и подошла ко мне Лида Семина из восьмого «Г».

— Больно?— спросила она.

— Больно,— ответил я.

— У тебя губа разбита и щека содрана, и грязная еще,— сказала она.

Лида очень хорошая, и мама у Лиды очень хорошая, и старший брат Лиды, который служит под Ашхабадом. А дома у них есть рыжий-прерыжий кот Санчо. Я стал часто приходить к Лиде, и мы пили чай, разговаривали и играли в домино вдвоем с ее мамой, тетей Женей. Она работает фармацевтом. Я раньше не знал, что это такое, но Лида объяснила мне и сказала, что она пойдет учиться на фармацевта, как мама.

Так мы начали дружить с Лидой, и все сразу изменилось, вся моя жизнь. Я не знаю, надо писать об этом или не надо. Нам велели написать биографию, ну, в общем, все, что у нас было в жизни. «Все узловые моменты»,— так сказал старший лейтенант. Я раньше никогда не писал автобиографии, и поэтому не знаю, что писать. Но я напишу еще об одном узловом моменте в моей жизни. Это было как раз за три месяца до того как меня призвали в армию.

У нас с Лидой была в детском парке возле пруда любимая скамеечка, и Вовка Гончаров тоже иногда сидел там с нами. И тогда мы сидели вдвоем: Лида, я и Вовка. Вовка рассказывал разную чепуху, и мы все смеялись. Было очень весело и красиво вокруг. Я даже маленькое стихотворение сочинил:

Когда встает новый день,
Над прудом расстилается звесь,

И мы втроем сидим
И обо всем на свете говорим.

...Его я сразу узнал, как только он вышел на аллею. Это был Малакан. Он шатался. Значит, был пьяный. Мы не убежали. Мы только замолчали, и у меня очень сильно забилося сердце. Я слабый и это знаю, но тогда я сразу решил, что ни за что не струшу, потому что рядом со мной была Лида.

— А, зайчики, сидите?— сказал Малакан, когда подошел к нам.— Сидите, сюсюкаете...— и он выругался матом.

Лида очень низко наклонила голову. Вовка сгорбил-ся. Я весь напрягся, но промолчал.

— Кулю видел, Михрютка?— спросил Малакан, нагнувшись ко мне.

Я заметил, что у него разбита бровь и нос ободран. Потом я узнал, что это его Куля с друзьями отделал. А тогда я ему ничего не ответил, решительно уставившись в его наглый взгляд.

— Фью, какая фифочка жирует тут,— закривлялся Малакан и дыхнул на нас водкой.— Тебя как зовут, козочка?— спросил он Лиду, взяв ее за ухо.

— Никак...— Лида вырвалась и ударила Малакана по руке.

Малакан мгновенно выпрямился и рывком выбросил вперед другую руку, в которой был нож.

— Быстро отсюда,— приказал он мне и Вовке.

Вовка встал и отошел недалеко.

— Бегом!— прикрикнул Малакан.

И Вовка пошел.

— Бегом!— зло повторил еще раз Малакан.

И Вовка побежал, втянув голову в плечи и не оглядываясь.

— Ну! А ты чё тилипаешься?— набросился на меня Малакан.

Но я твердо решил: пусть лучше он меня зарежет, но я не уйду.

— Я не уйду,— сказал я.

Малакан поднес нож к моему горлу.

— Ну!..

И тогда я изо всех сил вцепился зубами в эту руку. Нож выпал, я его поймал и швырнул в воду. А разъяренный Малакан сбил меня с ног. Я упал, сжался, спрятав лицо в живот, а локтями прикрыв почки. Малакан бил меня ногами, один раз он даже прыгнул на меня. И тут Лида как кинется на него, как вцепится ему в волосы... Малакан еле-еле отшвырнул ее от себя, и тогда Лида закричала на весь парк:

— Помогите!

Малакан испугался и, спотыкаясь, бросился в кусты. Лида села со мной рядом и не заплакала, а только сказала:

— Ишь, гадина какая!

С Вовкой я ругаться не стал. Он тоже был на другой день у меня на проводах и попросил прощения.

— Ты же знаешь, что Малакан не то что побоится, а просто не поленится пырнуть ножом, — попытался оправдать себя Вовка.

А в армии мне все нравится. Правда, четыре дня только и прошло. Но служить я буду добросовестно и честно, потому что так я обещал тете Жене и Лиде.

Ни я, ни мои родственники судимостей не имеют. За границей не были.

Рядовой Говорухин.

Я НЕ ДОЛЖЕН ЕГО ЖАЛЕТЬ

Мой отец позвонил мне на работу и назначил встречу в кафе «Золотой олень». Приехал и позвонил. Сейчас стало модным, когда ушедшие отцы встречаются со своими повзрослевшими детьми в кафе. Я видел это в кино.

И вот я сижу со своим отцом. Нас разделяют два бифштекса, бутылка сухого вина и плитка гвардейского шоколада. Я держу в руках фужер с легкими пузырьками и гляжу мимо отца на соседний столик: за ним сидит женщина — ничего женщина, и ножки у нее ничего. Отец перехватывает мой взгляд, тоже оборачивается и понимающе ухмыляется. Мне хочется сделаться маленьким и спрятаться в горчишницу, но не оттого, что я смотрю на женские ноги и отец это видит. Я просто не хочу смотреть на отца: он седой и здорово постаревший, мне жалко его, но я не должен его жалеть, потому что я все прекрасно помню.

Четыре года назад, когда мне было тринадцать, отец стал ходить к той женщине. Я все понимал, и Катька понимала, хотя ей было тогда пять лет. Не понимала только мама и Лорочка, которой исполнилось только два года. Сначала отец стал очень поздно приходить с работы и задерживался все чаще и чаще. А когда бывал дома, молчал, курил и злился на нас.

А потом... Я никогда не забуду тот день, отец, когда мы ждали тебя с зарплатой. Выдачу ее задерживали уже пять дней, а мама не хотела занимать деньги у соседей. Вот и сегодня мама собрала стеклянную посуду и послала меня сдать ее, чтобы купить кое-что из продуктов. «Ничего, ребята, обойдемся», — сказала мама. И я пошел с нашей большой коричневой сумкой в магазин. А в дверях магазина я встретил тебя, отец. Ты был с той женщиной... Она красивая, та женщина, только я вовсе не собираюсь сравнивать ее с мамой.

У той женщины был в руках большой пакет. Мы встретились в дверях, и ты не мог меня не заметить. И поэтому ты сказал, отец: «А, Витька! Зина, это мой старший. Это Виташка». И тогда женщина погладила меня по голове и дала из пакета конфету «Южная ночь».

Я бросился прочь. Я бежал по улице и сжимал в руке эту конфету, а сумка долбила меня по ногам. И я говорил себе, что я не должен плакать, что я мужчина. Но я бежал и ревел и не мог себя остановить. Тогда я совсем все понял.

Мама была в сарае, и я, уткнувшись в висевшие на крючках в коридоре пальто, долго глотал слезы. А затем, оставив сумку на кухне, зашел в комнату, отдал конфету Лорочке и сел на диван. Я сидел и думал, что я теперь самый старший и должен помогать семье. Я так и подумал — семье, а не маме.

Не зная, что делать, схватил веник и подмел пол. Катька прекратила вырезать из газет кукол, собрала все, даже самые узенькие полосочки, выбросила их и села рядом со мной. Мне было жалко и маму, и Катьку, и Лорочку тоже.

Потом мама устроилась на работу...

Отец допивает вино и спрашивает:

— Ты чего молчишь?

— Так,— неопределенно говорю я.

— Как твои дела на работе? Что ж ты не расскажешь?

— Нормально,— говорю я,— все нормально.

— Нормально — это ненормально,— говорит отец.— Расскажи, кем работаешь, кто твои товарищи...

— Электриком работаю. Напарник мой — Васька-Зубило. Правда, смешно?

— Это почему же он Зубило?— спрашивает отец, потому что ему надо что-то спрашивать.

— Так,— говорю я.— Он окончил только шесть классов и похож на медведя, и еще он всех зовет «ты, со справкой», а ноги и руки называет копытами. А вместо «глаза» он говорит «шнифты». Правда, смешно?

— Ничего смешного,— говорит отец. Он закуривает и щурится от дыма.— И вообще, я вижу, этот твой Васька — уголовник. Ты от него подальше.

Я опять гляжу на пузырьки и вспоминаю, как я пришел после восьмого класса на фабрику. У Васьки не было напарника, и меня направили к нему. Васька учил меня, как подключить мотор на треугольник и на звезду. А если я что-то делал не так, орал: «Ты, со справкой, не суй копыта, куда не след! Напряжение может дать и в морду!» А когда меня положили с аппендицитом, Васька пришел через два дня с бригадиром дядей Колей и приволок килограмм соевых батончиков и, наверное, целое ведро яблок из своего сада.

— Ты, со справкой,— заорал он с порога,— ты как тут?

Васька молодец! Потом ко мне больше никто не приходил, кроме мамы с Катькой, а Васька приходил.

— Ну, давай быстрее отсюда, а то мне не с кем в перерыве в костяшки постучать. Дядь Коля с Семен Тихонычем опять трех «козлов» пришили вчера мне с Вовкой. Ну, давай — и совал под подушку печенье и банку сгущенки. (Чудной этот Васька, будто меня здесь не кормили).

— Ну, как твои дела, так сказать, на творческом поприще? (Это отец спрашивает меня о моих стихах).

— Все в порядке,— говорю я и делаю маленький глоток вина. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь большим поэтом. Но я никогда не напишу в своей биографии, что у меня было трудное детство. Я никогда не напишу, как болела мама тогда, осенью. Как приезжала к нам тетя Даша. Мы рубили с тетей Дашей капусту у нас в сарае, но сначала носили синие скрипучие ко-

чаны из магазина. Я никогда не напишу, как трещали мои позвонки, когда я таскал эту капусту по полмешка, стараясь положить побольше, чтобы тетя Даша видела, какой я сильный и взрослый.

Мы выходим из кафе, отец суетится, отстегивает боковой карман и протягивает деньги.

— Вот, возьми,— говорит он,— здесь сто рублей. Тебе надо купить костюм, и вообще ты взрослый, и невеста, наверное, есть.

Мне хочется так же, как в кино, бросить эти деньги отцу в лицо. Но я не брошу, потому что Катке надо купить новое пальто, а у Лорочки нет зимних сапожек. У нас еще не все гладко с бюджетом. И вообще, не всегда можно сделать так, как в кино.

— Спасибо,— говорю я.

— Понимаешь, у меня сейчас... ну, в общем, я бы дал больше... Я потом пришлю...— извиняется отец и смолкает. И уже тише спрашивает:— Как мать-то?

Я молчу.

— Ты скажи, что я зайду. Скажешь? А может быть, сразу? Вместе? А?— говорит отец.

— Все в порядке, мать здорова. Работаем. А домой к нам, отец, не надо, не приходи. Не приходи.

Я жму вялую руку отца и ухожу по аллее. На дороге маслянистые лужи. Я шагаю прямо по ним и думаю, что главное—это не обернуться: если я обернусь, то мне станет жалко отца.

Пашке восемь лет. Живет Пашка вдвоем с матерью, и когда к ним приходят гости, Пашкина мать устало и как бы извиняясь говорит:

— Мальчик немного болен. Вы, пожалуйста, не обращайтесь внимания.

У Пашки несоразмерно большая голова, это — последствия полиомиелита. Глаза у Пашки синие, но мутные, будто, в них молока подлили. Смотрит он внимательно и грустно.

Чаще всех в гости приходит Валентин Иванович. За глаза мать зовет его Валькой, потому что он на четыре года моложе ее. Валька работает с матерью в одном цехе на оружейном.

Раньше женихом был Платон Ильич, теперь — Валька.

Пашка понимает, что матери тридцать три года, а если женщина в этом возрасте не найдет себе кого-нибудь для жизни, то она вообще никогда не найдет. Так говорит Люда. Она тоже работает на оружейном.

К Платону Ильичу Пашка сначала никак не относился, но потом он узнал, что Платон Ильич никакой вовсе и не жених, а кот. Подслушивать, в общем-то, не хорошо, но Пашка заинтересовался: какой это такой кот. И он подслушал, как Люда ругала мать за Платона Ильича, потому что тот и женатый, и такой кот, какого по всей Туле не найти. И тогда вечером, когда пришел Платон Ильич, Пашка взял на кухне мясорубку, подошел к гостю, который сидел на диване, и сказал:

— Уматывай отсюда, а то сейчас как влеплю по чердаку...

— Пашка! — закричала и побледнела мать. — Как ты смеешь, Пашка!

И потом, уже обращаясь к Платону Ильичу:

— Вы, ради бога, не обращайтесь внимания, Платон Ильич! Мальчик болен. Ради бога, не уходите!

Но Платон Ильич ушел. И Пашку целую неделю не пускали на улицу. А потом пришел Валька. Он Пашке понравился, потому что у него усы и борода были совсем-совсем как у Щорса. И поэтому Пашка не стал мешать матери и Вальке: забрал портфель, и ушел в свою комнату учить уроки. В маленькой комнате он первым делом открыл свою любимую книгу «Герои гражданской войны» и долго смотрел на портрет Щорса, пока не убедился, что Валька действительно очень похож на него.

У Пашки удивительная память: он помнит все услышанные и прочитанные сказки наизусть, помнит имена и отчества всех писателей и ученых, если только он слышал о них хотя бы вскользь, помнит всякие даты, помнит где и что лежит у матери. Поэтому мать часто спрашивает его:

— Паш, в марте тридцать первое — какой день будет?

— Суббота, — отвечает Пашка.

Соседка Ленушка тоже любит задавать вопросы, остановив Пашку на кухне:

— Ну, а как зовут Мичурина?

— Иван Владимирович.

— А Салтыкова-Щедрина?

— Михаил Евграфович.

— А Миклухо-Маклая?

— Николай Николаевич.

Пашка отвечает нехотя, ему скучно.

— Ну, а... ну... — Ленушка не знает, про кого еще спросить, и поэтому, как всегда, говорит: — Нет, это нездорово. Это определенно ненормально, — и гордо и обиженно уходит.

Ленушка маленькая и толстая, и про себя Пашка зовет ее Повалить да Катить.

Сегодня среда. Пашка давно уже пришел из школы, потому что занятий сегодня не было: двадцать девять градусов мороза на улице. Повалить да Катить говорит, что это крещенские морозы. Пашка сидит в большой комнате у размалеванного морозом окна и думает.

Больше всего Пашка любит думать про бабу Феню. Баба Феня живет в Настасьино, и на каникулы Пашка ездит к ней в гости. По случаю Пашкиного приезда баба Феня печет пироги с калиной, с рисом и с зеленым луком. Лук растет у нее в огороде и в цветочных горшках на окне. А на пасху баба Феня накладывает в тарелки земли и сажает в нее овес. Вернее, сажает она еще до пасхи. А к пасхе в тарелке вырастает густая зеленая трава, и в эту траву баба Феня кружочками накладывает крашенные кожурой от лука яйца. И Пашке очень нравится смотреть на них.

А еще Пашка любит в Настасьино ловить полевых мышей: как выйдешь в поле, где рожь растет, так и лови. Они такие маленькие, пушистенькие, и если сильно не давить их пальцами, когда держишь в руке, то они не укусят.

Есть в Настасьино пионерский лагерь, но Пашку туда не пускают. А если и пролезешь в дырку под забором, все равно поймают и выведут, да еще обзываются... Как-то пробрался Пашка на территорию лагеря, а вожакая с покрашенными на ногах ногтями, вывела его за ворота, да еще и заявила: «Чтобы я тебя, головастик, здесь больше не видела». А разве Пашка виноват, что у него такая большая голова? Вот поэтому тогда и пролез Пашка снова через дыру в лагерь, прижимая нагрудный кармашек своей клетчатой рубашки. А потом, пригибаясь, чтобы его не заметили из столовой, Пашка пробрался к тому раскрытому окну, за столом у которого обедала его обидчица. Как она визжала, когда в окно просунулась Пашкина рука и сунула ей в тарелку с лапшой живого мыша. Во визжала!

Пашка встает, берет веник. Половину комнаты он уже вымел, а теперь собрал мусор из оставшихся углов и положил веник посередине. Пашка ждет мать. Она говорит, что Пашка ей совсем не помогает, даже пол не подметает. А на самом-то деле он уже сто раз подметал, но она этого не заметила. Вот и решил Пашка, что он закончит уборку, когда мать вернется. Пусть она тогда увидит, как Пашка ей не помогает!

Дверь в коридоре стучает, и Пашка хватается за веник. Но это пришла не мать, а Валька.

— Здорово, — протягивает он Пашке руку.

Пашке нравится, когда с ним здороваются за руку.

— Ну и холодрыга, — говорит Валька.

— Ничего удивительного, — пожимает плечами Пашка, — крещенские морозы.

— Как дела? — спрашивает Валька, раздеваясь.

Но Пашка пропускает вопрос мимо ушей и, думая о своем, озадачивает Вальку:

— А коровы человеческий язык понимают?

— Не знаю, а что?

— А то, что я летом был в Настасьино, там один пастух на коров матом ругался, а они очень мычали — наверное, понимали.

— Выдумщик ты, — говорит Валька.

— Не, правда. А вот еще когда я в ухе спичкойковыряю, то кашляю. Может, в ухе кашельная жилка проходит?

— Может, и проходит. В школе-то не хулиганишь?

— Не-е... Только Витьке Макину вчера влепил.

— Это за что ж ты сго?

— Он мне муху в чернильницу бросил. Я отвернулся, а он бросил. А я макнул ручку, гляжу — муха, упала на тетрадь и ползет, в чернилах вся. Вот я и влепил Витьке. А Марь Сергеевна меня в угол поставила...

— Да, не фонтан, — говорит Валька.

— Не фонтан, — соглашается Пашка. — Нагнись, я тебе что-то скажу.

— Небось в ухо дунешь?

— Не, не дуну, — уверяет Пашка. Но когда Валька нагибается, Пашка не спеша слюнявит палец и, прикладывая его к Валькиным усам, говорит:

— У тебя ус отклеился.

— Ах ты шпана! — кричит Валька и подкидывает Пашку под самый потолок.

— Не надо, ну, не надо, — просит Пашка, — опусти. Лучше покажи приемы.

И Валька показывает приемы самбо, учит Пашку, как надо делать подсечку, бросок через себя, через бедро.

Мать приходит домой, когда сдвинуты и скомканы все половики. Валька стоит на коленях, а Пашка с криком: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок» — насккивает на него.

— Валентин Иванович! Что ты, что ты! — пугается мать. — С ним же нельзя так, он больной.

— Да какой он больной, — говорит Валька.

Но мать берет Пашку за руку и ведет его в маленькую комнату спать. В Пашкиной комнате помещается только кровать и маленький столик, беспорядочно заваленный учебниками и тетрадями. Над столом висят старенькие ходики с маятником и цепочкой, на которой подвешена гирька. Пашка очень любит подтягивать цепочку, когда гирька опускается почти до самого стола. На ходиках нарисована кошачья мордочка, и, когда маятник ходит туда-сюда, кот зыркает глазами то вправо, то влево. «Так-тэк, так-тэк», — отсчитывают часы.

Спать не хочется, и Пашка смотрит на белое морозное окно. Он слышит, как в соседней комнате мать и Валька собираются пить чай, как за стеной у Повалить да Катить звучит телевизор. Но потом Пашка начинает вспоминать всякую всячину и незаметно для себя погружается в сон.

Утром Пашка просыпается, как всегда, рано, и идет, шлепая по полу своими большими тапками, на кухню наливать воду в ракумойник. На кухне всего по семь: семь столов, семь примусов, семь ведер с водой, семь ракумойников. Пашкин ракумойник — четвѣртый, вон тот с зеленым гвоздиком. Пашка потихоньку льет воду из ковшика и чуть слышно напевает: «Гей, ребята, пейте — дело разумеете». Потом он шлепает назад будить мать. Он тихонько отворяет дверь в большую комнату и так же тихонько крадется к кровати, чтобы, как обычно, шепнуть матери: «Зайка, вставай умываться, уже полное копытце водицы».

Но когда заглядывает за спинку кровати, то видит, что мать не одна, что рядом с ней спит Валька. Пашка некоторое время созерцает непривычную для него картину и тихо уходит, осторожно затворив за собой дверь.

Он умывается, позвякивая алюминиевым гвоздиком. Нажмешь на него снизу вверх — и вода полилась, отпустил — уже не льется. Звяк-звяк...

«А все-таки хорошо, что Валька на мамке женился, — думает Пашка. — Интереснее жить будет. Вместе будем ходить мороженое есть, к бабе Фене ездить...»

На кухне в эту рань только бабушка Ариша из шестой комнаты, она что-то помешивает в кастрюльке на примусе. Но вот появляется Повалить да Катить и начинает начищать свои сапожки.

— Елена Самуилна, вы бы на кухне не чистили обувь-то, — говорит бабушка Ариша.

— А вы напишите заявление управдому, что я не приспособлена жить в коммуналке. Пусть мне дадут отдельную квартиру, — невозмутимо отвечает Повалить да Катить. И затем обращается к Пашке: — Может, я и тебе мешаю?

— А у меня мамка замуж вышла, — неожиданно говорит Пашка. — Я зашел сейчас к ней, а она с Валькой спит...

Пашка стряхивает капельки воды с зубной щетки и выходит из кухни, не видя, как у него за спиной ехидненько улыбается Повалить да Катить — «Ну, что, голубчики, попались?» и сокрушенно качает головой бабушка Ариша — «Дитя малое, неразумное...»

В своей комнате Пашка собирает в ранец книги и от хорошего настроения про себя напевает: «Холодок бежит за ворот, шум на улице сильнее...»

Он слышит, как в другой комнате проснулись мать и Валька.

Они переговариваются за дверью шепотом, но Пашке от этого почему-то слышно еще лучше.

— Ты посиди тихонько, а я принесу тазик — здесь умоешься, — это голос матери.

— А может, пока Пашка спит, мне умотать? Да и коридорные твои скоро встанут... — откликается Валька.

Потом открывается дверь, и мать как-то наигранно радостно удивляется:

— Павлуш, а ты уже встал? Что же меня не разбудил?

— Не успел еще, — врет Пашка.

— А у нас Валентин Иванович. Мы вчера с ним заболтались, глядь, а уже и трамваи не ходят. Я ему на диване и постелила...

Мать целует Пашку в щеку и идет на кухню готовить завтрак.

— Телячьи нежности, — грубовато говорит Пашка и вытирает щеку ладошкой.

На улице еще темно, но зыбкий рассвет уже лег матовой бледностью на заиндевелые оконные стекла. И от этого спокойного света на душе у Пашки делается очень хорошо, и он уже вслух поет:

Мы славные кавалеристы,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ...

Он причесывается перед зеркалом, и, подсакивая на носочках, размахивает над головой расческой, будто саблей. Он еще продолжает петь и приплясывать, когда отворяется дверь и в комнату с красными, заплаканными глазами влетает мать.

— Паршивец, — кричит она и со всего размаху звонко бьет Пашку по щеке, по той самой, которую пять минут назад целовала.

Пашка никогда не видел мать такой злой и некрасивой. А она все бьет и бьет его...

— Мерзкий, мерзкий мальчишка! Дурень! Простофиля!

На шум из другой комнаты выскакивает Валька. Он пытается защитить Пашку, но мать отталкивает и его.

— Уйди от меня! Все вы подонки, и ты — не лучше. Вечно идешь и трясешься, как бы кто не увидел тебя со мной, как бы кто чего не сказал. Только и хороша ночью, да когда тебе пятерка нужна...

— Ладно! — кричит Валька. — Ты тоже не подарок. Подумаешь, мадонна... Сама же первая прибежишь.

И, схватив под мышку полушубок, он выскакивает, чертыхаясь в коридоре оттого, что налетает на Ленушку, стоящую за дверью.

Спустя пять минут мать сидит на Пашкиной кровати и плачет, покачивая головой как от зубной боли:

— За что же мне такое наказание, господи? За что? — и опять плачет.

Плачет и Пашка. Он забился за свой письменный стол и, сидя на полу, думает о том, что он больше не будет мучить мать, что вот возьмет и умрет сегодня, простудится и умрет. Или соберет свои вещи — книжку про героев, ласты, настоящий патрон, который хранится в его столе — и уедет насовсем к бабе Фене. И не надо ему ничего, если мать такая плохая, если она из-за какого-то Вальки бьет его.

— Павлик, — наклоняется к нему мать. — Я плохая, Павлуш, прости меня, родной мой.

Она плачет и целует Пашку, и Пашка чувствует ее горячие слезы на своем лице. Ему становится очень жалко и мамку, и себя, и он, уже не сдерживаясь, ревет.

— Ну вот и все, — гладит его по голове мать. — Вот и все. Прости меня только, ты только прости. Все будет хорошо, а летом мы с тобой поедem в Настасьино... И никто нам с тобой не нужен...

На следующее утро Пашка просыпается еще раньше обычного. Он лежит в темноте и смотрит в окно. Наверное, мороз ослаб, поэтому верхний угол стекла оттаял, и Пашке хорошо видны звезды. Их много, целая уйма, и все они тихонько вздрагивают. Пашка лежит, закинув руки за голову и думает. Ладно, он не будет умирать и не уедет насовсем к бабе Фене, потому что мамка будет скучать без него. Она хорошая... Вот и сегодня ночью, наверное, раз сто заходила и все смотрела на Пашку, жалела его.

— Нет, — шепчет Пашка, — я ее не брошу. А то кто же будет будить ее по утрам, кто ей скажет, что уже полные копытца водицы...

Он смотрит сквозь оттаявший угол оконного стекла на далекие звезды, и чистые звезды из черной бездны подмигивают ему.

ПЕЧАЛЬ ПОД КОЛЕСА

Тихона похоронили в июне, а в сентябре он вдруг пришел домой. Когда постучали, Полина сразу поняла, что это он. Она как была в одной рубашке, босиком, бросилась к двери, распахнула ее, а он стоит и улыбается, говорит:

— А вот и я. Здравствуй, Полина.

А она ему:

— Тиша, родной, ты же ведь умер...

— Нет, я не умер. Я просто уснул. Знаешь, сон такой есть, уснет человек и долго, несколько месяцев, спит, даже незаметно, как он дышит. Все думают, что он умер, а он живой. Вот и я тоже уснул этим сном... — И опять виновато улыбается.

— Что же ты стоишь в дверях, Тиша? Заходи.

— Я не могу, я только на минутку. Меня там ждут. Я сейчас пойду, дай только тебя поглажу, — и гладит ее по голове. А она плачет, все хочет ладонь ему поцеловать, но никак не получается. — Вот и все, — говорит, — а теперь я пошел.

— Я с тобой, Тиша, — закричала она, — не оставляй меня, я не могу без тебя. Пожалей меня, Тиша!

А он головой покачал: мол, нет, тебе нельзя со мной — и пошел.

Полина рванулась за ним, выбежала из подъезда босиком, а его уже нет, нет его, нигде нет.

— Тихон! Тихон! Милый мой!

...Проснулась вся в слезах. Рядом Маша стоит, за плечо ее трогает:

— Мама, мамочка, проснись. Ты кричала во сне, — и гладит Полину по голове, — не надо, мамочка, не плачь. — А сама тоже плачет.

Полина притянула к себе дочь, прижалась горькими дрожащими губами к тонкому виску:

— Машка, родная моя, что ж мы с тобой такие несчастные, а? Что ж мы с тобой такие...

И долго лежали обе и плакали, плакали.

— Тише, Маша, тише, Полину маленькую разбудим...

Потом, когда уснула Маша, Полина поправила одеяло на младшей дочери, названной Тихоном в честь жены тоже Полиной, и снова прилегла. Но сон не приходил, и она в который раз вспоминала те летние дни.



В конце мая у них запел чайник. До этого был чайник как чайник, а тут, перед тем как закипеть, вдруг тихо с подвывом запел. У них тогда еще гостила мать Тихона Анна Михайловна. Она мыла посуду в раковине да так и замерла с тарелкой в руке.

— Полина,— сказала она,— никак кто помрет теперь у нас?

— Ой да бросьте вы, мама, в ерунду всякую верить,— только и сказала тогда Полина.— Накипью оброс чайник, вот и воет.

Потом на похоронах Анна Михайловна будет плакать и рассказывать всем, как у них запел чайник и как ее материнское сердце сразу почувствовало, что теперь кто-то умрет. А Полина на кухне будет в это время стряпать для поминок, кусать губы и ронять на горячие румяные блины горькие слезы. Получалось так, что у всех было горе,— и Анна Михайловна, и сестры, и братья Тихона, и вся многочисленная родня причитали у гроба в большой комнате,— а у Полины, выходит, никакого горя нет, и поэтому она варит кутью, жарит котлеты и потрошит кур. И было от этого еще горше: вот стоит она у плиты и стряпает, чтобы зачем-то кормить и поить чужих людей, когда там, на столе, лежит ее Тихон, ее Тиша! Они всё чувствовали, они всё знали наперед... Чего же они ничего не сказали ей в то утро? Она бы закрыла двери на ключ, она бы его не пустила...

Полина всегда вставала раньше Тихона, готовила ему яичницу с ветчиной, кормила, провожала на работу. А в то утро даже не заметила, как он встал. Не слышала, как он собрался, открыл дверь и навсегда ушел из ее жизни. Ничего не подсказало ей сердце и тогда, когда он вовремя не вернулся с работы. Мало ли что... Может, к Ивану Смирнову зашел.

А Иван в это время уже ходил вокруг дома Полины, смотрел на светящиеся окна, курил папиросы и никак не мог решиться зайти и рассказать обо всем...

Они заводили последний этаж первого в городке девятиэтажного дома, и бригада собиралась идти на обед.

— Иван, я сейчас! — крикнул Тихон.

Он отстегнул страховочный пояс, отложил в сторону на пачку электродов держак и маску, выпрямился и пошел к лестничному пролету, на ходу снимая рукавицы. Отойдя от края балки больше чем на метр, Тихон неожиданно запнулся о трос и потерял равновесие. Его швырнуло на невысокую кладку стены, но удержаться за нее не удалось... Когда Иван и несколько других строителей с замиранием сердца глянули сверху вниз, то увидели, что Тихон лежит на груди битого кирпича, а каска его отлетела к самому забору.

Тихон умер в машине «скорой помощи» на руках у Ивана, не приходя в сознание.

Когда Смирнов рассказал Полине о случившемся, она не заплакала, она просто не могла поверить в смерть мужа.

— Да нет, да что ты, Иван, ты что-то напутал. Не может, не может этого быть. Вчера еще он собирался на рыбалку, вот и удочки в коридоре стоят, вот рюкзак, уложенный им, а его нет... Как же нет? Не бывает так... Ты ошибся, Иван. Он жив, он просто ушибся, ну, сломал себе что-нибудь. Он не мог умереть. Нет-нет...

И только потом, когда Иван ушел, обняла девочек и разрыдалась. И после того как Маша и Полина ма-

ленькая уснули, она всю ночь бродила по комнате из угла в угол и плакала.

А утром выпустила на волю грачонка. За два дня до смерти Тихон подобрал его в дождь на улице. Грачонок обсох, отъелся, и все к нему привыкли. Но Анна Михайловна сказала, что грачонок этот — душа Тихона, и Полина распахнула перед птенцом окно.

Когда за ней зашел Иван, Полина достала из шифоньера черный газовый шарф и повязала им голову. В коридоре, мельком взглянув в зеркало, не узнала себя — желтую, с провалившимися глазами.

На порожке районного морга они сидели долго, часов до одиннадцати, ждали, пока не пришла нянечка. Толстая и неуклюжая, она долго вертела ключ в двери, прежде чем открыла ее. Полине показалось, что эта грузная старуха не хочет пустить ее посмотреть на Тихона. Поэтому она вскочила, судорожно ухватилась за ее халат, плакала, умоляла, говоря слова, которых раньше бы постеснялась. «Нате возьмите», — совала она свои часы нянечке. Та, ничего не понимая, даже испугалась вначале и только потом, сообразив, в чем дело, отошла от двери, пропуская Полину.

— Нешто я не пускаю?..

Полина переступила порог и задохнулась от тошнотворного сладковатого запаха формалина. На носилках и на полках вдоль стены лежали мертвые тела, и страшно было от той тишины, которая стояла здесь.

— Не твой? — спросила старуха, приподняв покрывало с какого-то покойника.

— Нет, — едва выдохнула Полина, всматриваясь в чужое бескровное лицо.

— Тогда на столе...

Стол, широкий, обитый цинком, стоял у окна. Из-под покрывала торчали голые руки и ноги. Няня открыла покойника до пояса, и Полина пошатнулась, чувствуя, что у нее перехватило дыхание и сердце вот-

вот остановится. Но она все же удержалась на ногах, ухватившись за край стола, и, беззвучно плача, склонилась над Тихоном: «Милый мой, как же это тебя, а?» Только теперь она поняла, что ее муж, ее любимый Тихон, умер, хотя и сейчас не могла осознать этого до конца: будто все происходящее с ней было тяжелым сном.

Сквозь застилающие ее глаза слезы она видели багрово-фиолетовую от ушиба левую сторону груди покойного, его скорбное застывшее лицо. Но больше всего ее поразил деревянный брусок с круглой выемкой, подсунутый Тихону под шею: «Живым ведь такое не подсовывают, живым будет больно, а ему, значит, не больно...»

Очнулась она на улице. Иван придерживал ее за плечи, а няня давала нюхать ватку, смоченную нашатырем. И потом, когда Полина отрешенно шла по утреннему городу, пронизанному летним солнцем, когда сдавала паспорт Тихона, брала свидетельство о смерти, давала куда-то телеграммы, что-то говорила, кого-то кормила, когда провожала к гробу певчих старушек, приглашенных Анной Михайловной, и, прижавшись у окна, рядом с изголовьем покойного слышала дребезжащие старушечьи голоса, она думала обо всем происходившем вокруг как о чем-то чужом, ее не касающемся. Двое суток Полина ничего не ела, двое суток не сомкнула глаз...

Как во сне выносили Тихона из дома, как во сне шла Полина за гробом, с трудом передвигая ватные непослушные ноги и не замечая людей вокруг и редких тяжелых капель дождя. Густая пелена в сознании провалилась только на кладбище, когда старухи перестали выть и кто-то сказал в тишине:

— Ну, родные и близкие, прощайтесь с покойным.

И тут она бросилась к гробу, поставленному на табуретки, обняла холодное тело мужа и закричала на весь мир, закричала так, что даже мужчины вздрогнули:

— Тиша, друг мой! Прости меня, Тишенька! Я скоро приду к тебе, я не могу быть одна. Ты слышишь, я не могу без тебя, Тиша!..

Она целовала его в колючий подбородок и холодные уста. И только когда ее оттащили и свекровь недовольно зашептала ей на ухо: «Не убивайся так, от людей-то стыдно», — она увидела, что все сгрудилось около могилы, а Маша и маленькая Полина стоят поодаль от всех одни-одинешеньки и, закрыв лица ладонями, тихо плачут.

Полина кинулась к дочерям, обняла их:

— Кровиночки вы мои родные, девочки золотые, не плачьте! Трудно нам, очень трудно, но что поделаешь! Давайте крепиться вместе, давайте друг друга поддерживать. А папки у нас больше нет...

* * *

Полина так и не смогла уснуть. Тянулись, путались и снова тянулись нити воспоминаний, пока за окном не проклюнулся дождливый рассвет. Она встала с постели, повязала косынкой волосы и стала убирать в квартире, гладить девочкам школьные фартуки, готовить завтрак... И опять машинально думала о своем сне, пытаясь разгадать его.

«Зачем Тихон приходил ко мне? Зачем я просилась к нему? Но он сказал, что нельзя мне с ним. Значит, еще рано мне туда, значит, надо жить, надо девочек на ноги поставить, а потом уже к нему. Но, видно, очень тоскует он там, если приходит во сне, жалеет меня...»

И когда переделала все дела, даже вытерла несуществующую пыль с подоконника, стола и шкафа, стараясь забыть в делах от тоски и горя, стрелки часов показывали только шесть утра. И тогда она достала из шифоньера осеннее пальто Тихона, его фуражку и повесила их на вешалку в коридоре. Но этого ей показалось мало, и она достала его перчатки и положила на тумбочку.

Потом сидела в коридоре, смотрела на фуражку, пальто, перчатки и обманывала себя и представляла, будто он дома, будто только что разделся и прошел в комнату. Но от этого становилось только еще горше, и она опять глотала горькие-горькие слезы.

Осторожный стук в дверь вспугнул ее. Смахнула косынкой слезы и отодвинула защелку замка.

— Здорово, девка. Это я к тебе чем свет, — ввалилась в дверь соседка Зина. — У тя хлебца не найдется? Мой-то недотепа не додумался вчера...

И остановилась, переводя взгляд с заплаканных глаз Полины на мужское пальто на вешалке.

— Что ты себе душу-то рвешь? Что ты сама себя-то пытаешь?

Горластая Зина ругала Полину, потому что по-другому жалеть не умела.

— Хватит, девка, посидела и ладно. На работу тебе надо устраиваться, я так думаю. Сегодня же и поговорю. У нас как раз две проводницы в декрет ушли. В делах, туда-сюда, все веселее будет. А там, смотришь, и найдешь себе, может, кого. Знаешь, какие командированные есть мужики — орлы!

Полина ничего не сказала в ответ, а уткнулась лицом в мягкий живот Зины и заревела еще горше.

— Ну, будя, будя, девка, — смахивая редкие слезы и морща нос, перешла вдруг на шепот Зина. — Это я так. Будя, ей-богу.

* * *

Тихая зимняя ночь. За окном вагона плывут утопающие в мягком светящемся снегу поля и леса, далекие цепочки огней и россыпи звезд в небе.

Поезд уходит из родного городка в полночь, а в шесть утра прибывает в Москву на Павелецкий вокзал. Полина уже выдала пассажирам простыни, подбросила в печку в тамбуре угля и теперь в своем купе смо-

трет в окно. Звездно. Тихо. Светло. Третий месяц она проводница... Господи, как быстро летит время, как эти полустанки за окном! Сегодня ровно полгода, как нет Тихона.

Первые два месяца он снился ей чуть ли не каждую ночь, а днем голос его чудился так отчетливо, что Полина даже вздрагивала от неожиданности. А то вдруг ни с того ни с сего вспыхнет в памяти его жест какой-нибудь, улыбка или картина такая: сидит он, Тихон, на корточках у забора и гладит собаку хозяйскую (это когда в деревню отдыхать ездили). А то вдруг увидится, как раздетый до пояса Тихон стоит на одном колене и ловко загоняет молотком гвоздь (это когда сарай Анне Михайловне перекрывал). Все это было в первые месяцы, а теперь захочешь лицо его представить — и не получается: вроде и он, и облик его, но какой-то смутный, будто в запотелом зеркале. Только вот боль не уходит. Подумаешь, что нет больше Тихона, — и защежит, сожмется сердце.

Полина смотрит в окно и думает о том, как непонятна смерть. Когда Полина начинает думать о смерти, о том, что человек умирает и уже ничего не слышит, не чувствует, она заходит в тупик: получается какая-то огромная, необъяснимая пустота. Столько лет они прожили счастливо с Тихоном, и вот она смотрит в окно, думает, а... его нет и не будет. Зина говорит, что для жизни всегда можно кого-нибудь найти... Но ей-то нужен он, Тихон, единственный во все времена...

Мелькнула фонарями и ушла в темноту станция со странным названием — Акри. Чудное название! Прочитаешь его наоборот с конца, и получается — ирка.

Ручка резко дернулась вниз, и дверь решительно подалась в сторону. Так уверенно входила в купе только Зина.

— Ну что, девка, сидишь? Все печаль свою печалишь? Да брось ты ее под колеса, печаль...

Вот так у Зины всегда. Сколько раз ей бригадир говорил: «Зинка, не мусори на дистанции, ты и так уж одна всю дорогу зас...» А ей хоть бы что, у нее это просто: банки, склянки, печаль—все под колеса...

— Да нет, Зина, я так... Акри проехали. Назад прочитаешь—ирка получается. Может, любил кто-то эту Ирку и ее именем станцию назвал? А чтобы никто не догадался, он буквы переставил...

— Оттого, небось, и переставил, что боялся, как бы жена за эту Ирку перья из макушки не повыдергивала. А вообще ты, девка, с ума не сходи! Если все станции сзади наперед читать, бог знает до чего дочитаться можно...

Зина задрожала от смеха. А насмеявшись вдосталь, плюхнулась рядом с Полиной, обняла ее за плечи.

— Я тебе вот что, девка, скажу. Про Сан Саныча помнишь, говорила? Ох и интересный мужчина... Сам седой, а брови черные. Золото мужик. Сама бы завлекла, да так и быть—дарю для твоего душевного удовольствия. Он из Москвы с нами поедет. Познакомлю, чего уж там...

Полина вспыхнула, жаром ударило в лицо.

— Ой, Зина, может, не надо?

— Потом будешь говорить надо-не надо... Иди-ка лучше пассажиров буди. Москва скоро...

Столица встретила их густой синевой снежного утра, мельтешащими пассажирами, властными окриками носильщиков, толкающих впереди себя тележки. Предновогодняя Москва гудела своим ровным гулом, на каждом углу молодые зычные бородачи торговали пластинками, схемами метро, едиными проездными билетами и золотыми елочными шарами.

Полина едва успевала бегать за Зиной по гастрономам. Зину везде знали. Мясник на Серпуховке, отоваривший их краковской колбасой и отличной говядиной, шумел:

— Зинулька, как твое драгоценное?

Зинулька, запихивая продукты в сумку, на весь магазин рокотала:

— Я тебя, черта, после нового года живым от себя не отпущу.

Потом еще ездили на Ленинский проспект за апельсинами, примеряли в обувном сапожки, забежали в «Тысячу мелочей». Потом постояли в очереди за свежими помидорами, которых им не досталось. И во всей этой суете Полину нет-нет да и охватывало теплой волной.

«Что это? Ах да, Зина обещала познакомить с Сан Санычем. Сам седой, а брови — черные... — Полина пробовала отмахнуться от этих дум. — Что это я вообразила себе? — Но через некоторое время вновь ловила себя на мысли, что вспоминает Зинины слова: «Постарше тебя годов на семь, но это ничего. Зато вдовец, и работа у него начальственная, всегда в галстук. Главное, не дрейфь. Ты у нас красотулька, сорок лет — горя нет...» И опять подумала: — Господи, взопреешь в этой беготне, будешь как свекла вареная. Губы не забыть бы подкрасить...»

* * *

Назад поезд отправлялся вечером, без пятнадцати шесть. Вновь поскрипывали под вагоном колеса, пахло апельсинами. Полина раздавала пассажирам простыни, готовила чай. А когда, наконец, освободилась, пришла Зина.

— Ну как, нашел угомон на тебя? Причешись-ка, сейчас Сан Саныча приведу. Да фартук-то сними, господи...

— Ой, Зина, не надо приводить! Вдруг кто из знакомых едет, увидят ведь...

— Что ты заполошилась? Что заблуждала-то? Дверь закройте, поговорите, а я посмотрю пока за твоими пассажирами. Ничего с ними не сделается...

Дверь в купе отворилась, заглянул какой-то мужик с красным облупленным носом.

— Хозяйка, чайку сообразить можно?

Полина хотела было встать, но Зина опередила ее.

— Со всеми надо чай пить. Нету чаю, кончился чай.

Когда дверь затворилась, Зина опять затараторила:

— Может, тебе платок мой дать? Ай нет, оставайся в своем, твой наряднее. Главное, ничего не бойся и смейся больше. Мужики, они веселых любят. Если что... и побалуйтесь.

— Ты с ума, Зина, сошла!

— Ну, будя-будя... Кульки убери. Покупки, говорю, спрячь, а то — как на базаре. Ну все, пошла я за ним.

Минут через пятнадцать она вернулась. Следом за ней в купе вошел мужчина с добрым печальным лицом.

Полина сидела смущенная, накинув на плечи платок.

«А и вправду брови красивые, — подумала она, — смоляные, густые...»

— Ну, вот, — сказала как-то уж очень скромно Зина, — у нас — товар, у вас — купец..

Мужчина улыбнулся, шагнул к Полине.

— Зинаида Николаевна сказала, что у вас можно чайку попить необыкновенного, с мятой... А я к вам с конфетами...

— Господи, да у меня ведь мяты-то нет, — растерялась Полина.

— Неужто не захватила сегодня, ай-ай-ай, — засокрушалась Зина.

Полина хотела было сказать, что мяты у нее вообще никогда не было, но увидела, что Зина за спиной у Сан Саныча покрутила пальцем у своего виска, показывая, стало быть, что она — того, плохо соображает, — и смолчала. Хотя Зина и пыталась вразумить Полину незаметно для гостя, но тому все было отлично видно в оконном отражении, и он грустно улыбнулся.

— А я, признаться, не очень-то и люблю с мятой. Давайте пить обыкновенный, только если можно покрепче, э-э-э...

— Полина Афанасьевна, — пришла на помощь Зина.

— Можно и просто по имени, без отчества, — сказала Полина.

И Зина одобрительно закивала. Вынув откуда-то из-под полы своего кителя бутылку водки, она поставила ее на стол.

— Кутить так кутить! Это я, Сан Саныч, во всем виноватая. Смотрю — она совка, ты — орлец, она — вдовка, ты — вдовец. Дай, думаю, дело хорошее сделаю: сведу их вместе, чтобы не было скучно порознь. Вот... — Она потопталась на месте, не зная, что еще сказать, вздохнула и взялась за ручку двери: — Пошла я. Веселитесь, чего там...

Зина задвинула за собой скрипнувшую роликами дверь. Постукивали на стыках колеса, вздрагивала на окне шторка, тихо покачивалась в закупоренной бутылке водка.

«Жаль, — подумала Полина, — жаль, что Зина ушла. О чем теперь говорить? Ведь говорить что-то надо. Но все слова разом разбежались, а тут еще Сан Саныч улыбается и внимательно смотрит на нее».

Полина вспыхнула, смутилась:

— А я знаю, что вы так на меня смотрите. Это оттого, что на мне мужская рубашка, да?

— Какая рубашка?

— Вот эта, — показала Полина на торчащий из-под железнодорожного кителя воротничок желтой рубахи. — Вы знаете, в вагоне всегда холодно, а она, хоть и мужская, но теплая, байковая...

— Что вы, Полина Афанасьевна, я просто так смотрю...

Они посидели еще в тягостной тишине, наблюдая, как дребезжит и тихо сползает по столу стакан.

— А знаете что,— решительно сказал Сан Саныч,— давайте выпьем немного водки. Говорят, что это помогает. Вы пьете водку?

— Пью. Только вы мне чуть-чуть налейте, а то я сразу пьяная стану.

Она достала сыр, очистила два апельсина, нарезала колбасу. Сан Саныч пеловко оторвал у металлической шляпки ушко и вилкой откупорил бутылку. Потом налил полстакана себе и немного Полине. Они чокнулись и выпили. Сан Саныч долго жмурился и выдыхал воздух, а Полина от волнения выпила свой глоток легко, но на всякий случай отщипнула корочку хлеба и понюхала ее.

— Ловко у вас выходит,— улыбнулся Сан Саныч.

— Я алкоголичка,— пошутила Полина. Водка мгновенно ударила ей в голову и вызвала веселость.

— Выдумываете, наверное?

— Ни капли. Я хроник. Восемь раз в вытрезвителе была.

— Ну, это вы точно врете.

— Конечно, вру. Я вина не пью вовсе. Если только на Новый год глоточек шампанского... А сейчас я пьяная — с ума сойти!

— Ну-у-у... Что-то вы рано захмелели... А у меня вот ни в одном глазу. Так нечестно. Я, с вашего позволения, буду догонять,— долил себе водки Сан Саныч.

— Налейте и мне,— пододвинула свой стакан Полина.— Уж коль начали спаивать, то спаивайте до конца.

— Воля ваша, так и быть, вдвоем сопьемся.

Теперь водка показалась Полине гадкой и противной до невыносимости. Она цедила ее сквозь зубы, пока горькой волной не захлестнуло горло. Полина до слез закашлялась.

Сан Саныч осторожно постукал ее ладонью по спине.

— Ничего-ничего,— попыталась сквозь слезы улыбнуться Полина,— ничего-ничего...

Веселость из нее улетучилась, стало тоскливо и холодно. Но надо было как-то поддерживать компанию, и поэтому она спросила:

— А вы что же, в Москву по работе ездили или как?

— Или как, — ответил он. — Я к дочке, к Маше, ездил, она у меня студентка.

— Ой, а у меня дочку тоже Машей зовут, а младшую Полиной. Муж ее так называл в честь меня. Знаете, какой у меня муж был?..

Она помолчала немного и вдруг заплакала, отвернувшись к окну, за которым мелькала реденькая посадка.

— Не плачьте, — тронул ее за плечо Сан Сапыч. — Мы так хорошо сидели, и вот теперь — слезы... Не надо, не плачьте!

— А я и не плачу, — улыбнулась Полина, продолжая плакать. — Может быть, вы и хороший, только ничего у нас с вами не получится. Не могу я себя пересилить, не могу...

Последнее «не могу» она произнесла виновато, почти шепотом.

— Ну что вы, что вы! О чем вы говорите, разве я чем обидел вас? Я же все понимаю. Может быть, мне уйти?

— О, господи, да причем здесь вы? Причем? Вы как-то странно говорите всё. Вы тут ни при чем.

— А кто же тогда причем?

— Никто, наверное... У меня, Сан Саныч, муж умер... Жили-жили — и вдруг нет его.

Полина плакала и говорила, плакала и говорила — о том, как они с Тихоном познакомились, как поженились, как он по роддомовской пожарной лестнице забирался на второй этаж, чтобы через окно посмотреть на розовую крошечную Машу, и как потом в конце мая у них вдруг запел чайник...

Когда она выговори́лась, сй стало легче. Вот только слезы бежали и бежали из глаз, так что носовой платок стал совсем мокрым.

— Оно и лучше, — сказал Сан Саныч. — В смысле, лучше не то, что у вас горе, а то, что... Запутался я совсем, но я хочу сказать, что с меня будто камень упал.

— О чем вы?

— Оно и впрямь лучше, что вы такая. Вы думаете, я не догадался, что меня не чай пить зовут, а с женщиной знакомить, чтобы было потом с кем скуку вечерами обманывать... И вот ведут тебя, как бычка на веревочке, знакомиться, и ты идешь, хоть и не очень-то хорошо у тебя на душе, и кажется, будто весь поезд видит, для чего тебя ведут, а идешь... Видно, страх одиночества сильнее боязни всякого позора. Вы меня простите, что я слова вам такие говорю... Вы хорошая, чистая... А меня уже не первый раз так сводят, да вот ничего не получается. Знаю, что всего-то и надо зажмуриться в душе да сказать какую-нибудь пошлость... Но не получаются у меня романы. Не получился и с вами, бог миловал. И не надо: нельзя себя и их обижать, тех, кто верен был тебе до последнего вздоха. Наверное, старомодно это все нынче, но что делать...

Он достал из бокового кармана фотокарточку и протянул ее Полине.

— Вот...

На качели, вцепившись в тоненькие подлокотники, смеялась и летела к небу молодая женщина. Ветер трепал ее смоляные волосы.

— Кто это? — спросила Полина.

— Космос покоряем, — будто не слыша вопроса, продолжал говорить свое Сан Саныч, — а на земле разобратся не можем. Рак какой-то одолеть не умеем... Спий. Об угол стола. Нечаянно. И все. Шишка вздулась какая-то — и все, и нет человека.

— Это ваша жена? — снова спросила Полина.

— Это моя Лидка, — ответил и отвернулся к окну Сан Саныч.

Полина нерешительно протянула руку и, жалея, буд-то маленького, погладила его по голове. И это легкое прикосновение женской руки окончательно разжалобило его: вон и веки покраснели, и слезы стоят, уже готовые пролиться.

— Ну что вы?.. — попыталась утешить его Полина, чувствуя, что и у нее слезы покатались по щекам.

Сан Саныч первым прервал затянувшееся молчание:

— Странно все у нас с вами получается, Полина Афанасьевна. Очень странно у нас с вами все получается...

* * *

Через четверть часа Полина сидит одна и, прислонившись к стеклу, смотрит, как плывут за окном в лунном свете пушистые зимние елки, осыпанные мягким снегом.

Мелькнет какой-то полустанок, проплывет одинокий фонарь, и опять лес, лес — черный, таинственный. Полина представляет себя среди этой ночной оглохшей тишины: стоит она на путях и смотрит, как по серебристым рельсам уходит вдаль от нее поезд, мигая красными огнями последнего вагона...

Олег Иванович, в кедах, в завернутом до колен трико, в майке, весь незагорело-белый, худой, в очках, вначале не слишком уверенно выводил косой полукружья по сочному разнотравью. Но через некоторое время, приспособившись к полированному узловатому древку литовки стал бросать ее все увереннее и увереннее — из-под правой рули влево, полувеером: «И — раз, и — два, и — раз...»

Отряд в подшефный колхоз на заготовку сена формировался в институте проектирования горных машин по принципу добровольности. Шли в него, как правило, пожилые горняки, родившиеся в деревне и теперь истосковавшиеся по сельскому раздолью. А Олега Ивановича Соломина, младшего научного сотрудника, напроситься в косцы заставила нужда: ему надо было решать свои жизненные проблемы, делать выбор либо-либо, а он не знал, на каком либо ему остановиться, мучился от этого и в конце концов дал деру в колхоз. «Впереди месяц времени, можно все обдумать, принять решение», — обнадеживал он себя. Был Олег Иванович человеком неглупым, тридцатидвухлетним, окончившим в Москве горный институт и считавшимся перспективным конструктором. «Вот только характера ему не хватает, — говаривал, когда был жив, отец. — Голова-то золотая, а ноги ватные».

Еще студентом Олег Иванович придумал новую натяжную систему транспортной ленты, по которой уголь из лавы идет на откатку. Сила натяжения увеличивалась при этом почти в полтора раза. Таково было первое патентованное изобретение Олега Соломина. И он легко пошел в гору. Уже на третьем курсе ему предложили после окончания института остаться в аспирантуре. О нем даже появилась статья в журнале «Советский шах-

тер», которая называлась «Профессия — изобретатель». Тогда же Соломину пришла мысль — заменить угольный комбайн на принципиально новую машину, шнеки которой будут вращаться не параллельно лаве, а навстречу ей. Необходимо было усовершенствовать и сам очистный комплекс, придать ему на грузовом штреке телескопический скребковый конвейер. Все это вместе должно было позволить производить непрерывную добычу угля, без остановок для зачистки лавы, передвижки конвейеров и подвалки тупиков. Оставалось придумать некоторые детали и можно было садиться за чертежи, расчеты.

«Одному, конечно, придется повозиться, — подумал Соломин, — но надо непременно одному». Засесть за расчеты однако не пришлось. Помешала женитьба. Ее звали Алла, была она моложе Олега на четыре года и красива, как моргучая кукла. Училась Алла в университете на первом курсе истфака, где ее почему-то все звали конфеткой. Папа у «конфетки», между прочим, был директором кирпичного завода где-то под Тулой.

Познакомились они в читальном зале в зимнюю сессию, а на майские праздники уже сыграли свадьбу. Когда молодожены приехали к родителям Олега в районный городок, мама много суетилась и все не знала, куда посадить невестку. И уже за полночь, когда Алла ушла спать, сидя с сыном на кухне, мама сказала:

— Так-то она хорошая, видная.. Вот только плохо, что вы в мае женились. Люди говорят, маяться бы не пришлось. Хотя если друг друга уважаете, все нипочем.

И отец, который тут же курил у окна, высказал свое суждение:

— Мужчина не должен быть зависим от жены в деньгах, уме и породой должен быть либо выше, либо ровня. А если этого ничего нет, то характер должен быть как железо. Смотри, малый, тебе жить. Нам-то что?

— Да ты что, отец, — возразила жена. — Алик у нас парень с головой, выучится вот, инженером будет... Почему ж он ей не ровня?

А Олег усмехнулся:

— Смешной ты, пап, со своими старорежимными мерками. Придумал породу какую-то, беднее-богаче... Сейчас — главное суть человека, его талант. Это и порода, и богатство, и счастье.

— Говоришь-то правильно, да ведь и я тебе дурного не желаю. Однако посмотрим...

На другой день, когда ходили в магазин за вином, отец по дороге спросил:

— Ты любишь ее?

И Олег честно признался:

— Не знаю... Но она такая красивая: по Москве идет — вся улица на нее оборачивается. А я будущий... инженер (Олег постеснялся сказать «ученый», хотя сказать хотелось именно это). И, может быть, инженер... (не думай, что я бахвалюсь, просто я трезво оцениваю свои возможности) инженер не средней величины, а чуть-чуть повыше. А у такого инженера и жена должна быть такой... ну, в общем, исключительной, блестящей, не как у всех. Такие красивые, может, раз в сто лет рождаются, а она за что-то меня выбрала, ну вот я и не мог...

Отец остановился, лицо его, осунувшееся и побледневшее, болезненно скривилось, и он ухватился рукой за бок.

— Что, опять печень? — испугался Олег. — Где у тебя ношпа? Давай достану таблетку...

Но отец сурово посмотрел на него.

— Жаль.

— Что жаль? — не понял Олег.

— Жаль, что никогда в детстве не драл тебя.

...А потом у них родился Илюшка. Олег был уже на пятом курсе, и они снимали за пятьдесят рублей квартиру в переулке Обуха, рядом с Курским вокзалом. И

чтобы не быть зависимыми от ее родителей, Олег работал сторожем в детском саду. Днем — институт, ночью — дежурство. Он был очень горд своей независимостью, хотя если бы был немного наблюдательнее, понял, что живут они, расходуя гораздо больше, чем их две стипендии плюс зарплата сторожа. Старики потихоньку присылали Алле деньги на главпочтамт. Но Олег этого не замечал. Понял, когда уже полностью сидел вместе с женой и Илюшкой на шее у Аллиных родителей. Потом было распределение, и тесть постарался перетащить их к себе — в их городке был филиал московского института, который именовался длинно и непонятно.

Дни летели, они всей семьей ездили то на дачу за смородиной, то за грибами, то в отпуск в Симеиз — и Олегу как-то некогда было взяться за телескопический конвейер и новый очистный комплекс. В институте он второй год работал над одним из узлов дренажной машины, сдавал зачеты, ездил на испытания, совершенствовал, заказывал и вновь испытывал опытный образец. Все это полностью поглощало служебное время. А дома всегда было полно гостей и тоже некогда было засесть за расчеты. Надежды на выходные дни и отпуск таяли незаметно и грустно.

— Слушай, на фига тебе все это надо? — сказала как-то Алла. — Машину нам с тобой купили, квартира у нас, слава богу, не хуже других. Чего же тебе еще надо?

Он тогда взорвался, наорал:

— Каждый человек должен прожить свою, ты понимаешь — свою, а не чужую жизнь. А моя жизнь — в моей работе. Работа с большой буквы — прежде всего, а потом слава, деньги, шмотье, но опять же заработанные тобой самим, твоим хребтом, — только тогда вся эта дребедень будет мне в радость. А я... я тряпка. Ты принимаешь подачки от своего отца, а я молчу. Ты что ду-

маешь, я не знаю, откуда у него эти деньги? Думаешь, я не знаю, как твой папаша ворует со своего завода кирпич и строит гаражи?

В этот вечер Алла вела себя так, будто мужа вообще нет дома: ходила по комнатам, театрально прикладывала к вискам смоченный холодной водой платок, потом другим платком утирала носик и тихо плакала. Больше всего Олег боялся именно этого: слез и полного невнимания к себе.

Потом он еще не один раз вставал на дыбы, кричал, что ему уже двадцать семь лет, потом — тридцать, тридцать два, а он еще ничего не сделал, что его силы и возможности погибают, что он должен уехать и хоть одно воскресенье посидеть на даче один, подумать. Но как только речь заходила об этом, снова возобновлялось хождение Аллы по комнатам, появлялся платочек, смоченный водой, начинались тихие, мучительные для Олега слезы. Потом он всегда просил у жены прощения, целовал ее соленые щеки и говорил, что он ее любит, что будет любить еще больше, главное, чтобы она его понимала, понимала и только. А она сквозь слезы шептала ему горько-горько:

— Не смей никогда плохо говорить про папу.

И так продолжалось долго, пока Олег Иванович не встретил Осень. Так он сразу назвал про себя эту женщину, так стал называть и впоследствии, так как ей это понравилось.

Она сидела на лавочке в сквере и курила. И по тому, как она неумело курила, как рассеянно смотрела мимо прохожих, как ненароком роняла пепел на свое зеленое пальто, он понял, что ей плохо, очень плохо. У нее были зеленые глаза и огненные золотые волосы. Он сел рядом.

— Зачем вы курите?

— Какое ваше дело? — сказала она с такой интонацией, словно спрашивала: «Зачем вы меня обижаете? Что я вам сделала?»

— Я не хотел вас обидеть, простите. Просто мне тоже очень... Простите, пожалуйста...

И он встал и медленно пошел по аллее, усыпанной желтыми кленовыми листьями.

Несколько дней спустя, после особенно тяжелой ссоры дома, Олег хлопнул дверью и ушел. Накрапывал нудный вечерний дождь, а он без зонта все ходил и ходил по городу и, обжигая пальцы сигаретой, много курил. Потом сидел на той самой лавочке, на которой увидел Осень. Одиноким, промокшим, он думал: «Ну почему у меня нет воли? Почему я стал такой? Перевоспитать жену не смог, все, что было за душой, потерял. Если что-то еще и осталось на самом доньшке, самая маленькая искорка, то как мне ее раздуть, как начать жить той жизнью, которой я должен жить? А если я так и не смогу начать, тогда зачем вся эта никчемность, пустота?..

— Здравствуйте, это вы? — Она стояла перед ним в зеленом пальто с зеленым зонтиком в руке. — Боже, как вы озябли, — сказала она, и ему захотелось заплакать.

Потом они пили чай с королевским вареньем в ее коммунальной квартире и молчали. А потом он все чаще и чаще стал бывать в ее комнатке с зелеными обоями, по которым цветы гирляндами падают к самому полу. И он постоянно ощущал нежность слов ее, беспощадность слов ее. Она говорила ему:

— Разве так можно, Алик? Нельзя же быть таким слабым. Господи, я бы помогла тебе, но что я могу, я сама такая слабая. Но ты же мужчина! Ты же понимаешь, что не должен разменивать настоящее дело на покой и слякоть.

И еще она говорила:

— Ты ее завоюй, Аллу. Каждый мужчина должен завоевать свою женщину, доказать ей свои права на нее, а у вас все наоборот. Ты должен настоять на своем. У тебя же золотая голова, ты же такой умница.

Однажды он неожиданно сказал ей:

— Знаешь что, давай все начнем с нуля.

Она как-то грустно улыбнулась и покачала головой:

— Я не смогу тебе ничем помочь. И разве ты из тех, кто сможет бросить Илюшку? Не надо. Я тебя очень люблю и сейчас еще не могу оставить. Но я все равно оставлю тебя, либо сделаю так, чтобы ты оставил меня. У тебя еще все будет хорошо...

Она жалела его, гладила по голове, целовала в висок, в глаза.

— Целовать в глаза — это к разлуке. Я скоро уеду. Я пехоршая, так как ворую тебя, делаю хуже нам обоим, — говорила она.

А иногда она жестоко ругала его:

— Ты — слюняй, тебе надо разобраться в каше, которая у тебя в голове, — и опять целовала в висок, говорила: — Тебе нужна слабая женщина, с ней ты смог бы быть сильнее. Надо, чтобы ты кого-то защищал, жалел, заботился... А я не слабая, ты не верь мне, когда я говорю, что я слабая.

После таких разговоров у него всегда сильно болела голова, сильнее, чем когда он подолгу сидел за расчетами новой машины. Он стал рассказывать Осени все-все: о работе, о том, что этот узел дренажной машины он мог бы сделать за неделю, а вот тянет два года и будет еще тянуть, потому что тянут другие, тянет его начальник отдела Якубовский. А портить отношения с Якубовским нельзя, потому что директор института через полгода уходит на пенсию и Якубовского прочат на его место, а Олега на должность начальника отдела. Вот такая чехарда... Поэтому сейчас ему, Соломину, придется молчать, но это же временно. Как только он добьется своего, станет начальником отдела — вот тогда он и покажет свое лицо.

— Господи-господи, — говорила она, — а ты не боишься, что эта маска так приклеится к твоему лицу, что

однажды ты и захочешь ее снять, да она-то не снимется, прирастет.

Он горячился:

— Ты не права, понимаешь — не права.

— Сколько в тебе самолюбия, — огорчалась она, — плохого самолюбия. Мне так трудно пробиться к тебе настоящему, тому, каким ты был когда-то.

Однажды она достала с полки книгу, нашла отмеченное в ней место и прочитала ему: «Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...»

— Кто это? — спросил он.

— Это Толстой — молодому Бунину. — И немного помолчав. — Тебе сегодня же, сейчас надо браться за свою шахтерскую машину. Это будет очень умная машина. Я верю в тебя. А свободного времени, такого, как ты ждешь, у тебя не будет никогда. Будет только то, которое есть сейчас.

— Знаешь, — сказал он, — я все-все понял. Я за все возьмусь с завтрашнего дня, а сейчас пойдем отметим мое понимание.

Когда они выходили из подъезда, с клена сорвалась и шумно пролетела мимо них белая ворона.

— Странно, — сказала она, — я никогда не видела птиц-альбиносов...

Было уже начало лета, и они сидели в большом и не очень уютном ресторане, наполненном громкой музыкой, шумной публикой и дымом. Вокруг стучали вилками, смеялись, но они никого не замечали.

Расплачивался он деньгами, которые ему дал тесть на подарок ко дню рождения Аллы. Он всегда давал полсотни, и Олег, добавив еще пятьдесят, покупал какую-нибудь цепочку, сережки, набор французских духов и дарил все это от себя и тестя жене. Это была традиция.

...За расчеты он так и не сел. Ему казалось теперь более важным сделать выбор — «куда нам плыть?» Он взвешивал свои сомнения и злился на себя за то, что не может запросто, как некоторые, уйти в работу, в любовь.

«Ладно-ладно, — мысленно говорил он себе, меряя шагами коридор института, — я ее люблю, — раз, она понимает меня — два, она может встряхнуть меня, когда я захандрю, — это три, четыре — я наконец-то обрету покой, начну работать так, как мечтал. А не это ли главное в жизни человека — быть собой? Так, теперь, что я теряю? Илюшку... Хотя... я же смогу ходить к ним. Что же здесь такого? Она не имеет права отказать мне видеть его. Еще я теряю, ну, уют там, тряпки, квартиру, машину... Да разве в этом счастье?»

Соломин чувствовал, что с выбором дальше тянуть нельзя. Но когда он понял, что сказать свое слово, выбрать «куда нам плыть?» он должен, не откладывая на завтра, уже сегодня, в этот момент открылась дверь и в их кабинет вошел Якубовский.

— Нуте-с, нужны добровольцы в колхоз. На месяц.

— А молодым можно? — запросто и весело спросил Олег Иванович.

— Миру — мир, — тоже запросто и весело поддержал его Якубовский. — Позвоните Сергею Алексеевичу, скажите, что я не возражаю.

И вот теперь Олег Иванович широко размахивал косой, медленно переступая своими худыми ногами. Уже давно на нем взмокла майка, горели от жары стиснутые в резиновых кедах ступни, мутными каплями дрожал на ресницах соленый пот. Соломин очень быстро выдохся, его вдруг стало поташнивать, застучало в висках.

— Ниче-ниче, — отбирая косу, успокоил его Палтэф, (так сослуживцы прозвали Павла Тимофеевича Фофанова — из отдела осушения). — Иди полчасика поваляй-

ся в холодке, и все пройдет. А то ведь и жилы себе можно порвать.

Спал в эту ночь Соломин беспокойно, метался и бредил, и утром Палтэф дал телеграмму его жене. Алла прибыла в этот же день и решительно заявила, что забирает мужа домой. Олег Иванович уезжал тихий и грустный, хотя и пробовал шутить.

— Ничего, Палтэф, ты и один со своей комплекцией поднимешь наше сельское хозяйство на невиданную высоту. — И сам не веря своим обещаниям, пытался уверить своих товарищей: — Ничего, денька два отлежусь, и вернусь. Все будет иначе, все будет по-другому.

Алла, собирая вещи Соломина, негромко ругала его:

— Я же говорила тебе — не надо ездить в колхоз. Говорила? Ты же только хорохоришься, а ведь у тебя совершенно для этого нет силенок. Без привычки, без характера разве здесь обойдешься? Но ничего, я тебя отпою липовым цветом, зверобойчиком — ты у меня станешь даже лучше, чем прежде.

Соломин рассеянно слушал жену, смотрел в окно. Сразу за школой, в которой расположились шефы, начался молодой березовый лес. Ветер сонно шевелил зеленые гривы деревьев. В них уже начали появляться первые желтые пряди.

ОЖИДАНИЕ

Глухов сидел на лавочке в стеклянной ожидалке и, засунув руки в карманы пиджака, смотрел в темноту. Сентябрьский дождик назойливо барабанил по опавшим листьям, по асфальту, по разноцветным стеклышкам автобусной остановки. Люди приходили и, дождавшись своего автобуса, уезжали. Появлялись новые, а Глухов все сидел и сидел, глядя в одну точку на ту сторону улицы, где теплыми пятнами светились поздние окна.

Часы у Глухова остановились, и он не представлял, который сейчас час, хотя по уменьшившемуся количеству пассажиров и можно было предположить, что уже довольно поздно.

— Последний не проходил, дядь? — спросили у него.

— Не проходил, — не оборачиваясь, ответил Глухов.

— А закурить нету? — спросил все тот же мальчишеский голос.

Глухов вздохнул и полез в карман за «Примой». Достал две сигареты, одну протянул пареньку.

— А спички есть?

«Может, тебе еще и губы дать», — хотел было сказать Глухов, но промолчал. Чиркнул спичкой и, зажав в ладонях горячий огонек, протянул мальчишке. И пока тот прикуривал, рассмотрел его: длинные висюльки намокших волос, белые ресницы, нос картошкой.

Посидели, помолчали, попыхивая сигаретами.

— Видишь, дело какое, — неожиданно заговорил Глухов. — Я и задел-то ее так себе. Передком легонько толкнул...

— Кого? — не понял парнишка.

— По Маяковской еду, вижу, старуха ковыляет, ну я и скинул вроде. А когда подъехал к ней, смешно сказать, еле полз... на тормозах... А оно ведь дождь... Вот маленько и стукнуло. — Глухов затянулся несколько раз подряд, выпуская дым через ноздри. — Она отскочила в сторону — ну, ясное дело, упала. Мне бы остановиться, а он свистеть... И я, дурень, — ходу. Струхнул, стало быть, — он стрельнул «бычком» в лужу и замолчал.

— Может, обойдется, дядь?

— Какой обойдется! — Глухов махнул рукой. — Номер, как пить дать, записал, так что — сливай воду... — Он потер ладонью небритый подбородок. — Машину поставил, пришел сюда и сижу. Домой боюсь идти, небось уже ждут-дожидаются. Нинка, наверное, плачет. Нинку жалко... Да... Двадцать семь лет шоферу, хоть бы курицу раз задавил, а тут...

— Дядь, может, ничего со старушкой?

— Какой — ничего? Я в больницу звонил. — Глухов снял кепку, зачем-то засунул ее в боковой карман. — Бедро сломано... Как ни крути, а года три впаяют. Нинку вот только жалко... Весной с ней серебряную справили, а тут такое дело...

Мальчишка поднял воротник плаща и поежился, а Глухов так и сидел с непокрытой совсем почти лысой головой и не замечал ни холода, ни сырости.

— Ваську в прошлом году обженил, а у Верки пацану уже три года. Хорош пацан! — Глухов улыбнулся. — Уши оттопырены, как у меня.

Он достал из кармана кепку, повертел ее в руках и надел на голову.

— Если записали номер, тогда... — парнишка подумал, но так и не придумал, что тогда.

— А мне сон с четверга на пятницу снился, — снова заговорил Глухов: — будто Нинка сидит, хлеб отло-

мит и сначала в сметану помакает, а потом в соль и ест. Плохой сон. И вот тебе, пожалуйста... Он опять снял кепку и положил ее рядом на лавочку. — Главное, что еду-то веселый. Время к шести... Ну, думаю, приеду, поем, телевизор посмотрю, а завтра выходной, к Ваське схожу завтра.

— Выпили бы с Васькой, да?

— Чего? — переспросил Глухов.

— Я говорю, выпили б, небось, с сыном-то? — смутился мальчишка.

— Не-е, я зарок дал. Уже год не пью. Нинка рада. А раньше я здорово зашибал. В вытрезвителе два раза был, а теперь не пью, не-е... Нинка говорит — теперь друг для друга и проживем. Рубаху мне вчера купила, в полоску такая, дорогая — рубликов семнадцать... Вот так.

Парнишке очень хотелось еще что-нибудь сказать.

— Ишь, сеет как, — выглянул он на улицу.

Глухов тоже встал, будто хотел убедиться в том, что действительно сеет, потом снова сел, вздохнув.

— Может, еще закурим? — предложил парнишка.

— Валяй, закуривай.

Закурили. Дождевые капли клевали крышу остановки, шуршали в оставшихся на деревьях листьях.

— Карп щас на горах идет, — раздумчиво произнес Глухов. — Мне Сапожков Петька крючков кованых принес. — Отогнув подкладку кепки, показал: — вишь, блестят? — Пригладил подкладку и опять надел кепку. — Хорошие крючки. Цевье крепкое.

— А может, пойти и все рассказать? — парнишка словно заглянул ему в душу.

Но Глухов ушел от ответа на мучающий его вопрос.

— Есть хочется... — Он встал и начал ходить по остановке. — Хорошо хоть Верку успел перевезти. Им квар-

тиру в ту среду дали. Ничего квартирка, двухкомнатная. Только подоконники узкие... И кухню надо кафелем покрыть... А Сашка, зять мой, сапоги мне подарил. — Глухов покрутил ногой, показывая сапог. — Хороший товар, яловые. Сашка из армии их привез. Ему то они на что? А я сапоги люблю. Перед Сашкой теперь неудобно... Вот черт...

Хлюпая по лужам, подошел блестящий автобус, но никто из него не вышел. И автобус, обдав остановку теплым сизым облачком, устало покати́л дальше.

ШАМАН-ДЕРЕВО

I

В субботу вечером низкая сырая хмарь, несколько дней висевшая над тайгой, стронулась, словно плот, оттолкнутый багром, и медленно поплыла над сопками Джуг-Джура, обволакивая вершины густой пеленой. И весь вечер, всю ночь ветер хозяйничал в тайге: продирался сквозь тяжелые лапы елей, пугал юрких серо-голубых белок, срывал с сосен красноватую шелуху и швырялся тяжелой золотоносной пылью.

Утром в огромных небесных провалах показалась холодная голубизна. Облака шли угрюмой разодранной чередой то пряча, то вновь открывая капризное якутское солнце, лучи которого скользили по сопкам, по холодной стремительной реке Аллах-Юнь, по крошечному спящему поселку...

В эти ранние часы Агей, уставший бороться с бессонницей и ноющей болью в правом плече, окончательно понял, что ему не уснуть. Стараясь не делать резких движений ревматической рукой, он осторожно выбрался из-под ватного, с засаленными краями одеяла и, шлепая босыми ногами по холодному полу, подошел к буфету.

Пошарил в ящиках, отыскал толстую серую свечу и, зажав ее меж колен, зажег спичку. Подождал, пока свеча разгорится, и осторожно начал капать раскаленным парафином на больное плечо. Горячие капли жгли кожу, но прогревали плечо до самой кости, и от этого становилось легче.

Агей держал наклоненную, потрескивающую свечу над плечом, пока не устала от напряжения здоровая рука. Затем сколупнул с тела парафиновые плюшки, надел штаны и длинную заячью безрукавку, собираясь выйти на улицу. Но мельком глянув в старое, в ржавых пятнах зеркало, задержался перед своим отражением.

С зеркальной поверхности на него смотрел старый человек с редкими желтыми зубами и воспаленными красными глазами, в которых затаились боль и тоска. Он поправил перепелиную челку, крылышком спадающую на бледный лоб, потрогал негустую рыжеватую бороду и вышел из избы.

Еще не утихший ветер катал по двору солому и рябое птичье перо. От белого яркого света щекотало в носу и щурились глаза. Агей зашел за сарай и помогился на густую траву рядом с поленницей дров. Потом, выбрав чурку посуше, маленьким топориком стал щепать ее и, пока от топорика с треском отлетала щепка, все думал и думал свою угрюмую думу:

«Ежеленко ты, Ежеленко... Что же теперь будет, Ежеленко? Запрягли тебя, мой дорогой, так и до меня докопаются — это уж как пить дать. Что же делать-то? Делать надо что-то. Что? Что? Убечь? Не заяц, поди, да и не молоденький уж, чтобы по тайге-то бегать. А какого ж рожна! Сидеть ждать, пока за тобой прилетят. Вот он я, милые мои, в красной рубаше вас жду-дожидаюсь, давайте поцалуемся...»

Он совал лучину в железную печурку, стоящую посреди двора, наливал в чайник воду, разогревал холодную зайчатину, ходил по двору, смотрел через забор на улицу и все никак не мог отделаться от страха.

«...Все-все. Взяли за горло. Неужели все? Нашупали жилку? Ну нет! Главное, до вечера дотянуть, заняться чем-нибудь... И мотать отсюда, скорее мотать! Сегодня же. А там ищи ветра в поле... Мне и жить-то осталось, может, лет пять. Не дамся, зубами грызть буду, а не дамся. Дайте дожить, дайте умереть спокойно! Сто лет уже прошло, все быльем поросло... Полжизни угробили — все мало вам, мало?»

От обиды набежала слеза. Забылся, хотел утереть глаза, но в больном плече так крутануло, что стало еще обиднее и горше, и он заплакал.

Потом достал в сарае из-за ящиков и всякого хлама карабин, завернутый в распоротую штанину старых ватных брюк, размотал бечевку и несколько минут вертел в здоровой руке новенький СКС, поблескивающий красноватым лакированным прикладом. И окончательно решил уходить.

Дома снял с гвоздя выцветший от дождя и солнца рюкзак и стал собираться. Сложил самое необходимое: соль, спички, хлеб, нож, веревку, три сотни патронов, накомарник, крючки, свечи, несколько подрезей и схватов.

Опять вышел во двор. За сараем отыскал заветное место и выкопал сверток, засунутый в полиэтиленовый пакет. Вернулся в избу, в сенях стряхнул с пакета землю, вынул из него небольшой, замотанный по горловине шнуром кожаный мешочек. Сунул внутрь руку, зацепил пригоршню тяжелых, тускло поблескивающих крупиц золота. У окна долго рассматривал их. Думал: «Зачем теперь золото? Куда его?»

Когда пятнадцать лет назад вышел из заключения и его определили сюда на поселение, когда стал работать гидромониторщиком, наводя тугую струю воды на спрессованную вечной мерзлотой золотоносную породу, он понемногу, по зернышку начал копить золото. Вечерами, плотно зашторив окна, высыпал драгоценные крупички на стол, ворошил их пальцами и сладко мечтал о том, какие возможности они открывают перед ним. К тому времени он уже знал, что крошечные вытянутые блестящие называются тараканами, кругленькие — клопами, а вся остальная мелочь — значками.

Он ездил в Усть-Майю, подолгу сидел в столовой — она же кафе, она же и ресторан, — присматриваясь к командированным, но так и не решился никому предложить заветный обмен: кило золота за паспорт, за тоненькую потрепанную книжицу, столь необходимую ему. А там... Агей жмурился и мысленно добирался до Якут-

ска, брал билет на самолет до Москвы. Оттуда несколько часов поездом да от станции пешком через чистое поле — и он в деревне, где широкая пятистенка с резными наличниками, окруженная пахучей махровой сиренью, дом, в котором шестьдесят два года тому назад Агей родился.

II

Свою деревню Агей вспоминал часто. И чем больше уходило времени, тем ярче и отчетливее рисовались в памяти те давние дни.

Жили они вместе в огромном доме дедушки Афони: тихая бабушка Аня, отец Фрол Афанасьевич, матушка, маленький Агей и работники — Кузьма и Михаил.

Богатым человеком был дедушка Афоня: имел девять лошадей, пять коров, полтора десятка свиней, а кур да гусей не считали. За мучицей да за хлебцем ходила к дедушке Афоне чуть ли не вся деревня, потому как хозяйство дед вел строго и спуску не давал никому — ни работникам, ни сыну, ни снохе. И вдруг все перевернулось, смешалось, спуталось.

Агей хорошо помнил, как беды обрушились на их семью в ту давнюю весну, когда на устах у всех появилось непонятное слово — коллективизация. Сначала ушли работники. А потом появился Никитка Рябой, прежде первый босяк на деревне. А теперь Никитка стоял в распахнутых воротах, стучал рукояткой кнута в створ, сверкал наглыми голубыми глазами и кричал:

— Эй, кто здесь?

Был он в кожане и в новых, невесть откуда взявшихся у него, смазанных дегтем сапогах.

— Слышь, Афанасий Спиридоныч! Чтобы завтра утром весь скот пригнал к моей избе. Комбед так решил. И чтобы без фокусов!

А наутро в стойле вдруг завалились все девять лошадей. Дергались в судорогах, пахали копытами землю, с

трудом приподнимали умные морды с голубой пеной у рта и жутко, по-человечьи, смотрели большими фиолетовыми зрачками. А дедушка Афоня плакал в саду, обняв зацветающую розовыми бутонами вишню.

Прискакал Рябой и с ним несколько комбедовцев. Бледный трясущийся Агей стоял на крыльце и видел, как Никитка ударил дедушку по лицу.

— Контра! Христа душу! Скот травить? Убью, сука кулацкая! — кричал Рябой и бил, бил дедушку Афоню.

Никто не видел, как из конюшни вышел отец, а когда увидели, было уже поздно: изо всей силы всадил Фрол Афанасьевич гладкие блестящие вилы в хрусткую, обтянутую новеньким кожаном спину Никитки.

Дедушку и отца увезли, а через месяц тайком ночью ушла из дома мать Агея. Так и остались они вдвоем: десятилетний мальчишка и старая бабушка Аня. Но еще долго виделось Агею во сне, как увозят дедушку Афоню и как он кричит ему, своему внуку:

— Запомни все это, Агеюшка, на всю жизнь запомни!

И он запомнил.

Помнил, как потом они ездили с бабушкой в церковь, ставили тоненькие свечки за здоровье и во спасение рабов божьих Фрола и Афанасия. Это было тогда же, весной, когда весело за деревней играла жалейка пастуха Сашки; когда в первый раз выгоняли коров на молодую робкую траву, когда хозяйки несильно стегали скотину прутьями вербы и ласково приговаривали:

Верба крест,
Бей до слез.
Вставай раньше,
Беги дальше.

Второй раз ездили в церковь года через четыре. Стояла теплая осень с солнечными мутными днями. По каменным улицам большого города тихо летали умирающие листья. И даже звонки трамваев были плавные и пе-

чальные. В горящей свечами церкви бабушка долго молилась, плакала и ставила свечи за упокой рабов божьих Фрола и Афанасия. А при выходе купила какой-то листочек.

Дома она достала из зеленого сундука с фигурными накладками завернутый в белую тряпицу темный серебряный портсигар с красивой лошадиной мордой на крышке и отдала его Агею.

— Ты уж большой, — сказала бабушка. — Это память тебе про дедушку Афоню. — Затем протянула церковный листочек. — А это носи всегда с собой — молитва это. Спаси тебя бог, Агеюшка. Помереть мне скоро.

Через два года бабушка умерла. А Агей купил себе гармошку и вместе с сыном дьяка, рыжим Колькой, гулял по деревне, пил самогонку, дрался и водил девок под стог. Серебряный портсигар он носил в боковом кармане пиджака с церковным листочком, где наверху было жирно напечатано: «Прославление благости Господа ко уповающим на Него. Псалом 90».

III

Война началась для Агея под Ельней.

Эшелон остановился, не доезжая до станции. В августовских сумерках выгрузились прямо в поле и без привалов долго шли длинной растянутой колонной. Где-то далеко гулко, как конь по деревянному настилу, стучал пулемет.

Шли по густой росистой траве, пахнувшей анисом и грибами. Шли какими-то оврагами, перелесками, топтали кусты. К рассвету вышли на большое картофельное поле. Их пропустили метров на триста, и тут из березовой туманной рощицы ахнуло, и вокруг закачалась и встала на дыбы от минных разрывов земля.

Сухим треском ударили автоматы. Шум. Рев. Вой. Крики раненых. Мат. Без команды кто-то упал, стал окапываться. А может быть, и была команда — просто

Агей не услышал ее. Он тоже упал на землю, саперной лопатой нагреб перед собой кучу густой жирной земли вперемешку с ботвой и резаными клубнями картошки. Вдавился в землю и часа три лежал, не поднимая головы, слышал только, как трепетала от частых разрывов земля. И среди этого ада он горячо шептал спасительные слова молитвы. Верил — если умолкнет хотя бы на мгновение, его убьют.

Их утюжили и ровняли с землей еще долго, несколько часов. Потом приполз комвзвода Маринин. Он за шиворот отдирает от земли Агея, орал в самое ухо, прильнув к нему сухими губами:

— Дура! Стреляй, стреляй, тебе говорят! — и показывал пальцем на рошу.

Потом он отдирает от ботвы и грязи лежащего рядом пожилого сержанта из четвертого взвода и уже не кричал, а слезно молил:

— Стреляй, Татарников, миленький! — и метался от одного бойца к другому, пока его не срезало осколком.

Немцы заставили оставшихся в живых лежать, не поднимая головы, до самого вечера. Вечером огонь ослабел, но не прекратился. Били из пулеметов и автоматов, а когда вспыхивала низкая, неестественно белая ракета, опять рывкали минометы, лопались мины и стоили земля и воздух.

Агей сговорился с сержантом, и, как только стало тихо, они вскочили и кинулись назад, к лесочку. Агей бежал, бросив котелок, винтовку, скатку. Бежал по трудному рыхлому полю, задыхаясь от бега и страха.

Опять вспыхнула ракета, заплесали справа разрывы. Садануло в плечо — Агей споткнулся, потом опять бежал, пока не стегнули по лицу невидимые в темноте ветки. Его неожиданно стошнило, и, мучительно давясь, он долго отдирает клейкую, как резина, слюну. Наконец отполз в сторону и только теперь сообразил, что нет сержанта.

Болело плечо. Хотелось лежать, не шевелясь и не думая... Но он пополз, потом встал и пошел напрямик через кусты, перелески и овраги.

Утром, цепляясь за малиновые ветки и обдирая себе ладони, он поднялся по крутому склону наверх — и сразу увидел немцев. Они шли с засученными руками, с автоматами наизготовку и лениво о чем-то говорили, а офицер в круглых тоненьких очках нюхал ватилек. Агея они не видели. Еще можно было незаметно, тихо спуститься в овраг, упасть, затаиться, но тошнотворно засосало под ложечкой, и он поднял руки и вышел...

Его обыскали, забрали документы и портсигар, в котором лежало «Прославление благости Господа», сложенное вчетверо.

...В лагере военнопленных было около двух тысяч человек. Днем ходили в город, разбирали разбомбленные дома, расчищали от завалов дороги. Как-то двое, совсем молоденькие, безусые ребята-танкисты, ворочая глыбы разрушенного дома, наткнулись на заваленный продмаг. Жадно рвали зубами колбасу, давились. Конвоир заметил, сначала бил по лицу вырванной из рук колбасой, потом прикладом. Вечером в лагере объявили, что провинившиеся за воровство будут расстреляны.

Утром выстроили всех перед бараком и устроили показательный расстрел. Стрелял сам комендант лагеря, молодой и улыбчивый Таубе.

На допрос Агея вызвали только через две недели. В кабинете был Таубе, еще какой-то офицер с крошечным, пуговичным носом и грузная женщина-переводчица, которая все время щурилась сквозь очки. Перед Таубе на столе Агей увидел свои документы и листок с молитвой. Портсигара не было. Ему стали задавать вопросы:

- Ваше имя, фамилия и воинское звание?
- Коммунист? Еврей?
- Номер части?

Он отвечал.

Агей говорил обстоятельно, спокойно. Ему вдруг стало все равно, что с ним сделают.

— Вы верите в бога? — Таубе постучал пальцем по развернутому псалму.

Агей не верил в бога, но, помолчав, тихо ответил:

— Да, я верующий.

И вдруг каким-то не своим, жалким голосом начал рассказывать о своем отце, деде, что у них было двадцать лошадей, что его семью уничтожили красные. Говорил долго, чувствуя отвращение к себе самому, но остановиться уже не мог.

Когда он закончил, с ним заговорил другой офицер. Женщина переводила.

— Господин Клееберг предлагает вам сотрудничать.

— Я согласен.

— Господин Клееберг спрашивает, почему вы так быстро согласились, ведь вы не знаете о характере предлагаемой вам работы?

Он вяло махнул рукой:

— Я все равно согласен.

Его одели, дали паек. Потом он узнал, что на службу к гитлеровцам, кроме него, пошли еще восемь человек, и среди них Ежеленко.

Вечером того же дня господин Клееберг пригласил их всех. Подали шнапс и сосиски в тазу. Клееберг налил себе в синий хрусталь шнапса и торжественно объявил, что отныне они должны молить бога за него, так как он спас их от неминуемой смерти в бараках и что теперь они подчиняются только ему, Клеебергу, руководителю группы тайной полевой полиции ГФП-580.

IV

Теперь, спустя много лет, Агей не так отчетливо помнил все операции ГФП-580. Он старался не думать об

этом, гнал мысли прочь, но все равно по ночам к нему приходили и мучили видения тех лет. Особенно врезался ему в память один мальчишка из Орла.

...Уже слышна была канонада советской артиллерии на старинных улицах Орла, когда Клееберг дал приказ о проведении операции «Медведь».

Целый день на открытых машинах вывозили заключенных из орловской тюрьмы в Медведевский лес. Агей сидел у борта, держа автомат наизготове и молчал. А рядом Ежеленко без умолку трепался о своей коллекции ручных часов. Агей молчал не потому, что ехал расстреливать людей, — к этому он уже привык. Да и Клееберг издал приказ, где сказано: «В расстрелах должен участвовать каждый» — это, чтобы не было потом разговоров, что один расстреливал, а другой нет...

Агею почему-то вспомнилось, как еще мальчиком он в деревне поймал воробья. Тот — махонький, желторотый, дрожит... Поиграл-поиграл с ним Агей, а потом подвесил на веревочке на ветку — и палкой, как копьем, в него. Да все мимо да мимо. Разозлился, подскочил — и ну воробья палкой хлестать, пока не остались от него лишь втоптаннные в пыль грязные кишочки да какие-то желтые пузыри.

Вот и с людьми так. Слабых Агей расстреливал за слабость, гордых — за гордость. Он устал от этой чертовой службы, устал от Клееберга, от Ежеленко и больше всего от себя самого. Ему хотелось тишины, покоя, мирной жизни. Хотелось все повернуть вспять... Но разве повернешь дни назад? Вон как они летят, мелькают... И что там впереди, что?

На опушке леса, рядом с грибным осинничком, остановились. Опершись на борт, охранники спрыгнули на землю, привычно заняли свои места, образовав живой коридор от машины до места казни. Последний из охранников выталкивал из кузова заключенных, и они направлялись к чернеющей впереди яме.

Было по-утреннему сыро, и по траве стлался туман... Когда расстрел подходил к концу, Агей вдруг услышал из машины детский плач. Мальчик лет двенадцати забился под сиденье в надежде остаться живым, но, потрясенный происходящим, выдал себя. Худой, измученный, он судорожно дрожал, когда Агей за ноги вытаскивал его из машины. Хватая своего мучителя за сапоги, мальчишка срывающимся голосом молил:

— Дяденька, не надо! Ой, дяденька, не надо, миленький!

Агей застрелил его тут же у машины. Клееберг поморщился и дал команду ехать.

Было еще много расстрелов — под Бобруйском, Брянском, Смоленском, но во сне к Агею всегда приходил этот пацан и истошно молил:

— Дяденька, не надо, миленький!

Клееберг был недоволен Агеем в последнее время.

— Мало инициатив, — говорил он.

Зато у Ежелевко ее хоть отбавляй. Это он придумал: отрастил себе бороду, надел рванье и, выходя из леса, стучался по деревням. Выдавал себя за попавшего в окружение советского лейтенанта показывал партбилет, просил связи с партизанами, подпольщиками, некоторым поручал собрать сведения о немецких частях. Ему собирали сведения, отдавали последний хлеб, одевали, прятали, сводили с подпольщиками. А он потом раскладывал перед Клеебергом листки с фамилиями, и Клееберг, почесывая мизинцем нос, говорил: «Ausgezeichnet, Ausgezeichnet!»*

V

От Клееберга Агей сбежал под Витебском в сорок четвертом, когда понял, что немцам приходит хана. Пробирался к себе домой, но на одной из железнодоро-

*Превосходно, превосходно! (нем.).

рожных станций его арестовал патруль. Долго разбегались. Десятки раз Агея допрашивал капитан-особист, высокий красивый грузин. Агей путался, что-то врал о контузии, о том, что попал в плен без сознания, о побеге из плена. Потом сознался, что добровольно сдался в плен, но уверял, что потом бежал. И хотя о своей службе в ГПФ-580 он не обмолвился и словом, был суд и приговор — расстрел.

Агей сидел в камере и не верил, что его скоро не будет. Не верил... В тот месяц ему, как никогда, вспоминалась родная деревня. Вспоминалось, как он водил Феню, красавицу с темными вишневыми губами за деревню, как сладко было лежать в стогу и устало гладить твердые девичьи груди. Агей любил красивых девок, любил чувствовать свою власть над ними. Знал, что не одна вздыхает по его челочке и зеленым глазам. Но больше всех вздыхала Феня. Она жарко шептала в колючей соломе «любимый мой» и мучила долгими горькими поцелуями.

Агей не верил людям, но верил в свою звезду, не верил в бога, но верил в подаренную бабкой молитву. Расстрел ему заменили двадцатью пятью годами заключения.

VI

Потом были длинные бараки с нарами, костры в холодной тайге, огромные заиндевелые стволы, с шумом и треском валяющиеся на землю, и везде и всегда неусыпное око конвойного. Как и другие, Агей писал письма, связывал бечевкой и тайно прятал их среди смерзшихся лесин, когда грузили лес в вагоны. Письма он запечатывал в двойные конверты: в первом — записка с просьбой к нашедшему переправить второй конверт по указанному адресу.

Был омерзительный, лезущий в нос гнус, было пережженное в консервной банке мясо пойманных бурун-

дуков, были бессонные белые ночи, когда нестерпимо болело плечо. И был старшина Стеклянко. Говорили, что у старшина погибла в войну в Харькове вся семья: четверо детей и жена.

Каждый раз, когда колонна, конвоируемая Стеклянко, возвращалась с работы, а навстречу шла группа уголовников, старшина давал команду:

— Стой! Шаг влево. Всем лицом к стене. Всем уйти с дороги! Уступить дорогу! Дорогу!

И, уткнувшись лицом в темную стену барака, Агей слышал издевательское похохатыванье уголовников и чувствовал словно обжигающий спину угольный взгляд старшины...

Через семнадцать лет Агей был амнистирован и определен на поселение в небольшом якутском поселке, неподалеку от звонкой и студеной реки Аллах-Юнь.

VII

Когда светлый край неба опустился за седлообразной сопкой и в вышине зажглись туманные белые звезды, Агей вышел во двор. Постоял у двери, прислушиваясь к звукам в поселке. Где-то одиноко пел женский голос:

За туманом ничего не видно,
Только видно дуба зеленого...

Пела спившаяся Галя-кукушечка. После войны бродила Галя по западно-украинским лесам, собирая хвост поблизости от дорог. Молодая была, остроглазая, далеко видела и легко различала солдатскую гимнастерку сквозь зелень кустов. Вот тогда и куковала Галя-кукушечка, и меткие лесные стрелки стреляли из-за деревьев по солдатам-освободителям, в одиночку добравшимся в свою часть через лес.

Теперь Галя-кукушечка уже не та, что была в сорок седьмом. Высохла, сморщилась — от такой жизни не

хорошеют. Сидит она целыми днями у магазина в ожидании, не нальют ли ей мужики из жалости стакан водки или спирта. И идет она тогда по улице с развевающимися длинными волосами за спиной, и поет она:

Пид тим дубом криниця стояла,
В тий кринице дивка воду брала
Тай впустила золоте видерце...

Хорошо поет чертова кукла, только Ежеленко она и в подметки не годится. Когда тот брал в руки старенький немецкий аккордеон и растягивал шпалерные меха, душа у Агея выворачивалась наизнанку. А когда запевал Ежеленко своим густым голосом, тогда и подавно хоть вой от тоски.

Ежеленко знал много песен, но Агею больше всего нравилась эта:

Не для меня весна придет,
Не для меня Дон разольется,
Вино по рюмочкам польется,
Такая жизнь не для меня...

И когда Ежеленко вторично выводил своим красивым голосом «Та-а-кая жизнь не для меня...», Агей уже не слушал слова песни, а думал о своем, мечтал... Мечтал, как приедет он в родные места: непременно зимой, в дорогом пальто с воротником из мерлушки, в бурках, в пыжиковой шапке — и вот таким щеголем пройдет по деревне. Пройдет так, чтобы все смотрели вслед, а старики удивлялись: «Ктой-то это? Никак Агей Серебряков?» И соберет тогда Агей богатое застолье и станет угощать всех разносолами и ловить на себе взгляды, полные зависти и уважения.

Он живо представлял, как хлещет водку Колька Рыжий, как цепляет на вилку грибки Лунев Пашка. А он, Агей, если б чего и съел, то это яблок, один пахучий антоновский яблок. У них в деревне все говорили не «яблоко», а «яблок»: «дай вон тот яблок», «какой красный яблок» «большущий яблок».

Пахнуло холодом с сопок и, будто в ответ мыслям, почудился сладкий морозный аромат антоновки. Агей поежился от прохлады и сырости и вошел в дом. Не зажигая света, сел за стол и некоторое время сидел в темноте, стараясь ни о чем не думать. Но так уж устроен человек: ни с того ни с сего вдруг станет жалко себя, и опять мысли побегут и, как заяц петляя по заснеженному лесу, сделают круг и вернуться к прежнему.

Опять вспомнилось, как три дня назад приезжали за Ежелем. И ладно бы увезли его в район или в Якутск, а то ведь в сам Брест. А Брест — это значит гроб. Дочкались, дознались о службе Сашка в ГФП. В Бресте комитет или организация, черт его знает что именно, но ясно — по расследованию преступлений минувшей войны. Брест — это стенка. Там уже не простят, не «скинут» за давностью, не посмотрят на старость. А Ежелем расколется быстро. Ему плевать, друг ты или кум, свою шкуру будет спасать, все вспомнит и про себя и про Агея.

— От, сука! — выругался вслух Агей. Со дна души его поднялась злость. — Попались бы вы мне тогда, я б вам устроил Брест! Я б вам все позвонки повыкручивал!..

Он вскочил и принялся ходить из угла в угол. Грохнул кулаком в стену. Потом зажег свет, открыл буфет и нашел отлитый в четвертинку спирт. Позвякивая горлышком о край стакана, вылил все до капли и медленно выпил. Знакомо обожгло глотку сухим огнем. Запил водой, пожевал хлеба. Погасив свет, сел на кровать и на некоторое время забылся в успокоительной полудреме.

В полночь с рюкзаком за плечами и карабином в руке он вышел из избы, запер дверь на висячий замок и отшвырнул ключ в темноту. За сараем отодвинул доску в заборе, вылез на улицу и, не оглядываясь, зашагал вдоль реки.

Как-то года три назад Агей и Ежеленко ходили в тайгу за мясом. Они так и говорили — «за мясом». Зайти в тайгу да убить лося — большого ума не надо. Разве это охота? Одно и то же — что корову убить, что лося. Единственное, что требуется от тебя, это шлепнуть лесную корову подальше от своего дома, чтобы ненароком не увидел кто да не донес Евсееву. У того разговор короткий: акт составил, плати пять сотен. Дожили — в тайге зверя убить нельзя...

Тогда они на лыжах ушли далеко, очень далеко. Никак не могли наткнуться на «мясо». А тут еще закрыло. Хотели возвращаться назад, когда Ежеленко увидел вдали в кедраче красно-коричневый силуэт. Лосиха была крупная, молодая...

Пока Ежеленко полосовал бритвенным ножом по дымящейся туше, отхватывая полосы мяса вдоль хребта, ветер заметно усилился. Кроме вырезки, отхватили еще по задней ляжке, сунули мясо в рюкзаки и заторопились по лыжне обратно. Шли не останавливаясь и не проверяя дороги. Уже стало сухо во рту, прилипли к спине под тяжелым рюкзаком рубаха и телогрейка.

Агей шел первым, шел ходко, а вокруг уже лютвала снежная круговерть. Потом, когда остановился, увидел, что Ежеленко нет. Повернул назад, кричал, но рот забивало снегом и ветром. С час еще шел назад, стрелял, опять кричал, пока не понял окончательно, что заблудился.

Теперь единственной мыслью было идти и идти, а иначе конец. Долго блуждал, падал, спотыкаясь о занесенные снегом деревья. И когда уж совсем выбился из сил, наткнулся на небольшое зимовье, скатанное из черных бревен.

Долго не мог открыть набухшую дверь, занесенную старым спрессованным снегом. Бухал плечом (знал, что

в зимовьях двери открываются внутрь), пока она не поддалась. Избушка была старая, заброшенная, но Агей нашел в ней котелок, топор, соль, лосиные унты. На нарах лежали оленьи шкуры. На печке стояла консервная банка со свечкой. Тут же оказалась пачка слежавшегося и пропыленного сахара. На коробке было обозначено: «Дата выпуска 1957 год». Выходило, что сахару почти двадцать лет. «Значит, нет у зимовья хозяина. Не-е-ету», — решил Агей.

Он разжег печку — сухие дрова были аккуратно сложены в углу, — сварил в натопленной из снега воде кусок мяса и, засыпая сладким усталым сном, подумал: «Пригодится зимовье. Может быть, пригодится. Уходить буду — надо дорогу запомнить...»

Ненастье улеглось через два дня. Перед отправлением в путь Агей прибрался в зимовье, заготовил дров, надежно прикрыл дверь.

Стояло морозное серенькое утро. Агей уверенно шел на юго-запад, отмечая дорогу, будто чувствуя, что ему надо будет сюда возвращаться. Приметных ориентиров было много: час ходу на лыжах — длинная лощина, еще полчаса — вывернутая с корнями сосна, еще час — выгоревший версты на две черный обугленный лес. И дальше Агей заметил несколько огромных валунов перед ельником, затем одинокую могилу с крестом без поперечины и, наконец, шаман-дерево на склоне каменистой сопки.

Агей и раньше видел такие мертвые деревья: гигантские по своим размерам, с причудливо перекрученными узловатыми ветвями до самой земли, где они сплетаются с обнаженными корнями. У якутов-язычников существует поверье: если на ветку этого дерева привязать лоскут и загадать желание, оно непременно сбудется.

Тогда, еще издали заметив трепещущиеся на ветру выцветшие кусочки материи, Агей свернул к дереву, долго стоял под этой черной гигантской сосной, разгляды-

вая ее, потом зубами оторвал от подола рубахи зеленый в клеточку лоскут и привязал тугим узлом к одной из ветвей шаман-дерева. Загадал выбраться отсюда на материк, туда, за Урал, в Россию, в деревню к себе, мысленно заклиная: «Если есть бог русский, помоги! Если есть бог якутский, помоги! Черт, дьявол, нечисть лесная, хоть кто-нибудь, помоги!»

В поселок пришел просветленный и спокойный. Появилась откуда-то робкая надежда, что вернется он в родные места. Не знает как, когда, но вернется, обязательно вернется. Тогда он и стал ездить в район да сидеть в столовой — она же ресторан, она же и кафе. Но про свою надежду никому не сказал, даже единственному дружку своему Ежеленко. И про заброшенное зимовье тоже не сказал.

IX

Агей шел вдоль реки. Темно и тихо вокруг, только шумит вода, сшибаясь с валунами, да поскрипывает под сапогами галечник. Горят холодные звезды над головой, да шумит ночная тайга.

У брода Агей оглянулся на зеленые огни поселка. По камням перешел на другой берег и двинулся напрямик на седлообразную сопку. Когда за спиной затихла говорливая Аллах-Юнь, а под сапогом запружинился мох, он успокоился и даже повеселел. Продирался сквозь небольшие кусты шиповника и смородины, обходил густые осинники и думал:

«А может, все к лучшему? Нет худа без добра. Отсижусь года два-три в зимовье, а там, бог даст, про меня и забудут. Был Агей и нет его. Вот тогда я и пойду тихонечко на запад. Мало ли бичей по Сибири скитается — что ж, у каждого из них паспорт проверяют? За лето дойду, глядишь, до Новосибирска, куплю одежонку поскромней да поездом и отчалию на Москву. На

поезде паспорт не нужен. На самолет нужен, а на поезд нет. Доберусь как-нибудь до своей деревни. Может, и не надо заявляться туда в пыжике да мерлушке? Лучше пусть меня никто не узнает. Пройду тихохонько, посмотрю на дом свой да на речку, где под мостом ловил красноперок. Яблок с вишней поем или лучше варенья из вишни — такого, как варил дедушка Афоня, чтобы ложкой не повернуть (вишню дедушка Афоня не доверял варить никому, любил переваренное черно-коричневое варенье, и чтобы с косточками)».

Агей спустился вниз и пошел по руслу пересохшей, перепаханной бульдозерами речушки. На берегу громоздились огромные кучи перемытой драгами золотиносной породы и горы каменных кругляшей, белеющих в темноте, словно груды черепов.

Русло разделилось на два рукава, и Агей выбрал правый, узкий и заросший кустарником. Временами он наткался на пустые металлические бочки, пахнущие нефтью и бензином, консервные ржавые банки, ящики. «Артель старалась здесь в прошлом году, — вспомнил Агей, — ишь, насвинячили. Где-то рядом должна быть сетка. Тьфу, черт!»

Он прямо лицом ткнулся в металлическую сетку, из которой старатели сделали загон для двух беспризорных медвежат: медведицу убили, а они шлялись вокруг полигона, ревели, мешали работать. Потом артельщики ушли, медвежат выпустили в тайгу, а сетку снять не потрудились.

Агей выругался, вытер шапкой ободранный нос и щеку и двинулся дальше. Он шел еще долго, всю ночь. Вспотела под тяжелым рюкзаком и карабином спина, соленые капли стекали по воспаленному лицу, привлекая кровопийцев комаров.

Когда стала сползать с вершин сопок черно-синяя предутренняя мгла, Агей спустился в широкую долину, поросшую густой зеленой травой. Остановился у неболь-

шого ручья, отер лицо рукавом. «Ну все. Перейду долину, одолею вон ту сопку, а там начнутся мои приметы: шаман-дерево, могила, валуны, сгоревший лес...»

Облизал сухие губы и пошел еще решительнее. Скрипели под ногами хрупкие, черно-фиолетовые ирисы, взлетали испуганные птицы. Он шел все быстрее и быстрее, будто каждый шаг приближал его к спасению. Разогревшись от ходьбы, перестала болеть рука, пропала усталость, и уже не так резал плечи рюкзак. А впереди над сопками огненным столбом вставало солнце, окрашивая небо багровым, оранжевым, розовым, палевым, синим, чернильным и фиолетовым цветами.

Агей пересек долину и теперь, задыхаясь, карабкался на каменистую сопку. «Юрк, юрк-юрк», — кричали испуганные полосатые бурундучки и шарахались из-под ног, мелькая своими арестантскими шкурками.

Опираясь на карабин и не замечая, что ствол забивается песком, Агей хватался за камни. Они сползали вниз, а он, потный и дрожащий, упрямо поднимался все выше и выше. И когда уже поднялся на самый верх, не успокоился, а тотчас побежал вниз, вспахивая каблуками густой песок и спотыкаясь. Спешил туда, где на склоне среди ярко-зеленых сосен с розовыми стволами стояло черное шаман-дерево, трепеща на ветру среди многочисленных разноцветных ленточек и его зеленым лоскутком в клеточку.

Сердце выскакивало из груди, дышать было нечем. Агей запнулся о камень... И вдруг небо с его яркими красками перевернулось, а сопка и сосны взлетели вверх...

Агей еще не понял, что произошло, и хотел было вскочить, но в глазах стало темнеть, будто их накрыли черной мелкой сеткой: ничего не видно, только солнце мутным пятном. И в ушах звенит колокольчик, и тошнота у самого горла... Агей упал навзничь, и некоторое время находился в шоке, ничего не чувствуя. Но посте-

пенно в глазах его посветлело, и стало видно уже ветки деревьев. Только в ноге, немного выше щиколотки, ощущалась острая пульсирующая боль, и неудобно было лежать.

Агей с трудом сел и снял с себя рюкзак, заскрипев зубами от боли. Потом долго крепился, удерживая слезы, и потихоньку, на боку, пополз к шаман-дереву.

Привалившись спиной к стволу, он достал складной нож, разрезал сапог и набухшую от крови штанину и опять чуть не потерял сознание. Сбоку, на ладонь выше щиколотки, прорвав мясо и кожу, торчала острая розовая косточка. Закусив нижнюю губу, Агей потрогал эту обнаженную кость, вытер пальцем кровь вокруг ранки и, не в силах больше сдерживать себя, заплакал навзрыд.

Спустя некоторое время он сидел спокойный и равнодушно глядел в одну точку прямо перед собой, а ветер трепал его пепельную, мягкую челочку. Потом Агей перевел взгляд вверх и сквозь ветки мертвого шаман-дерева увидел, что по небу плывут легкие редкие облака. Ветер был восточный и гнал их на запад.

Долгой заполярной ночью на меня наваливается беспричинная тоска. Я хорошо знаю ее приступы, и еще до того, как она сыпанет горячих угольев в мою грудь, пытаюсь найти себе дело, которое сможет ее отогнать. Я хожу по комнате, смотрю на полки с книгами, но любимые писатели отворачиваются от меня. Я пытаюсь сделать сыну скамеечку, но гвозди и молоток валяются из рук. Даже завязанные в черном замшевом мешочке старинные монеты, моя давняя иступленная страсть, кажутся теперь скучными и никчемными. И вдруг будто кто тихонько шепнул мне на ухо: «Текусья!..»

Текусья... Конечно, Текусья! Я надеваю унты, теплый полушубок и иду в соседний дом, к брату. Мой младший брат ничего не спрашивает, ему ничего не надо объяснять. Он протягивает мне ключи от машины, от своего старенького «рыдвана».

Вечер стоит морозный, ледяной, чуть припудренный легкой поземкой. На углах крыш курится снежок, крутятся маленькие белые воронки. В проходе между сараями прозрачным рукавом машет начинающаяся метель. Из гаража выезжаю не сразу, грею мотор.

Уже за поселком резко кручу руль, и машина напористо забирает вправо, на зеленоватый лед Печоры. Уже на льду топлю педаль газа и потихонечку разгоняю машину. Она летит так, будто под колесами идеальная трасса. И только изредка встречающиеся наносы бросают машину из стороны в сторону. Боковой ветер наискось царапает ветровое стекло трассирующими искрами снега. Это от отчаяния и злости тоска лупит по мне из снежных своих пулеметов. Она видит, что я ухожу от нее, медленно, но отрываюсь от ее погони...

Вчера по этой ледяной и пустынной дороге мы ехали вдвоем с братом, и вокруг было так же безжизненно и просторно. Угрюмая и безмолвная, леденящая душу

тундра лежала вокруг. Ни огонька вокруг, мрак повсюду. И только машина, устремляясь вперед, распарывала тьму двумя желтыми лезвиями.

Уже подъезжая к деревне, мы влетели в черную полосу воды между берегом и треснувшим от мороза льдом. Провалившись по брюхо, машина бессильно рычала и захлебывалась. Пришлось выползать и толкать ее к черным бревенчатым избам, прокаленным северными ветрами — хиусом и шелоником.

В какую дверь постучаться? Пока думали, намокшие на нас унты и штаны окаменели. Сорок три градуса вмиг сцементировали их.

Постучали в один дом:

— Пустите, хозяева, обогреться. А то еще чуть-чуть — и помрем.

Вышел мальчишка, с интересом осмотрел нас, штаны наши ледяные потрогал, сказал восхищенно:

— Как нельмы мороженные, — потом махнул рукой: — К Текусье ступайте. Там всегда всех принимают. Вон евовный дом...

— Двоечник ты — евовный, — сказал мальчишке мой брат. — Никакого сочувствия к людям.

И гремя на ветру штанами, мы поплелись к дому, «где всегда всех принимают».

От вчерашней выдавленной воды сегодня нет и следа, мороз превратил ее в ледяные легкие торосы. Я правлю сразу к дому Текусьи. Машина, переваливаясь на ухабах, пробирается по берегу и, уткнувшись в сугроб рядом с крыльцом, замирает.

— Вот вовремя, — радуется мне Текусья, будто мы с ней знакомы тысячу лет, а не встретились впервые только вчера. — А я дак на стол собираю. Раздевайтесь, кушать будем. — И сама уже гремит чугунками у печки, и улыбается, и тараторит без конца.

Волосы у Текусьи черные, гладкие, носит она их на пробор. Нос широкий, без переносицы. Губы толстые,

крупные. Над ними — черные пушистые усики. Но все это не портит Текусью, потому что главное на лице Текусьи глаза — необычные, неправдоподобно огромные, какие-то лимурьи глаза. Глубокие, как озера, они постоянно полны радости, синего счастливого света. Поглядишь в них — и нипочем не скажешь, что у Текусьи за плечами все шесть десятков.

Текусья ставит на стол железные чашки с наваленной с верхом натушенной большими кусками олениной. Крупно режет прямо на столе ледяной, еще дымящийся с мороза семужий бок. Чистит несколько твердых зеленых лукович, насыпает по кружкам бруснику и морошку. Выставляет две граненые копеечные рюмки. А ее глаза смеются.

— Текусья ты почему всегда веселая?

— А чего мне не веселиться — у меня жизнь счастливая. Муж хороший был. Жалко, помер рано. Сорока семи еще не было. А жили мы хорошо. Ванька уже службу отслужил, а мы с мужем все целовались. Это в сорок-то семь лет! Нет, я счастливая...

Она наливает в свою рюмку холодного чая, разбавив его каплей водки, а мне льет до краев розоватого брусничного сока — знает, что за рулем.

— Ну, на здоровье, — говорит Текусья.

Мы чокаемся и выпиваем, закусывая мороженой семгой.

— Текусья, — тихо прошу я, — расскажи еще раз ту историю, что ты рассказывала вчера...

— Вам бы лучше к Мишке Завьялову сходить, он долго на Новой Земле жил, а я-то чего дак... Всего ничего и жила.

— Расскажи, пожалуйста, Текусья.

* * *

Папа мой нечаянно убил себя, когда мне было три года. Жили мы в южной части острова, окна наши прямо

в Карские Ворота смотрели. И вот как-то поздней осенью поехал папа на нерпу охотиться. Лодка у нас в то время уже с топчинойой была — это мотор такой, его ногой заводили. Подстрелил папа нерпу, стал ее через борт переваливать, а ружье покатилося (лодка-то вся обледенелая была), задело курком, и заряд весь в бок ему угодил. Как уж он мотор завел и до дома довправил — не знаю, но добрался. Все маму успокаивал. Говорил: «Я помру, ты меня на мешковину положи и в сарай отбуксируй. Ты не бойся, я тебя пугать не буду и казаться не буду. А потом по снегу, смотришь, может, ненцы приедут, помогут тебе меня схоронить. Ты только, Роза (мою маму Розой звали), черное что-нибудь на хорей привяжи и в крышу воткни». А кто мог увидеть? В это время мимо острова никто не плавал. Волны в проливе густые от мороза, тяжелые. Кто тебе поплывет?

Помер папа, и, как он приказал, мама свалила его на мешковину, в сарай волоком отволокла. Одной ей его схоронить было не под силу: остров — сплошной камень, подолби-ка его, поворочай! И на собаках не уехать к ненцам: снега еще нет. А от одной охотничьей избы до другой километров двадцать пять-тридцать, у каждого свои охотничьи владения.

Но вот стал покойник маму пугать: то ей слышится, что он в сарае ходит, то, что дверь в дом трогает, кашляет. Она выскочит с фонарем — нет никого, в сарай заглянет — он там лежит, но будто притворяется, затаился будто. Мама просит его: «Акиндин, родной, не кажись мне, не пугай ты, Христа ради, нас с Текуськой». А он снова приходит, совсем извел маму: она и печь перестала топить, и готовить перестала. Сядет в угол, канюком оттуда смотрит — только глаза сверкают. Это я хорошо помню. Еще помню — в лодку меня посадит, отъедет от берега и на одном месте кружит и кружит, в глубину смотрит. А мне холодно, кушать хочется, я и реву. Мама очнется, окликнет меня, — и к берегу.

Печку растопит, покормит меня, а сама опять в угол. Со мной говорила очень много: жаловалась, мол, тоска одолевает, сил нету. От тоски даже кричать начинала, на пол чугушки и посуду всякую кидала.

Потом уж шведские или финские рыбаки случайно мимо плыли и заметили мамину черную юбку, привязанную к хорею над крышей. Судно у них небольшое было, «Кавасака» называлось вроде бы. Они и похоронили папу и нас вывезли на факторию, а оттуда мы зимой в Русаново перебрались. Мама там уборщицей работала, но недолго: заметно стало, что мама умом тронулась. Но в моменты, когда у нее ум ясный был, она меня все жалела. Обнимет, бывало, и шепчет: «Текуська-Текуська, ведь я чуть себя и тебя не утопила...»

Было моей маме двадцать четыре года, когда она умерла. После этого меня забрала к себе тетка. Так я и распростилась с Новой Землей, с Карскими Воротами... Теперь здесь, на большом берегу, и живу. Только верно, есть справедливость в мире: родители рано померли, так все их нерастраченное счастье ко мне пришло, за троих я счастливая.

* * *

— Разве же ты счастливая, Текусья? — говорю я. — Тебя ведь чуть в море не утопили...

— Дак ведь жива осталась.

— Муж рано помер...

— Зато самый лучший был. Да вот Ваньку еще подарил мне. Нет, я счастливая.

Правая в своей правоте она открыто смотрит на меня и неожиданно запекает:

Уж я за лесом шла, да фойка машется,
Уж я лугом шла, да травка клонится,
Я горами шла — песок сыпется.

Уж я берегом шла — камень валится,
Камень валится, да рыбка мечется,
Рыбка мечется, да пугается.
Уж то не рыбонька да пугается,
Моя молодость да кончается...

Я не знаю Текусьиной песни, и мы с ней ищем другую. И уже сообща поем потихоньку:

Матушка моя, что во поле пыльно?
Сударушка ты моя, что во поле пыльно?..

* * *

Погода, как это бывает нередко в Заполярье, в одночасье сменила гнев на милость. И уже назад я еду по чистой дороге. Сквозь ночные облака проклюнулись мелкие белые звезды. Далеко-далеко за горизонтом по-сверкивают голубоватые сполохи. И на душе у меня покойно и светло.

I

Погода, как это часто бывает в Заполярье, сменилась в одночасье, и еще недавно ярко пламеневшие осенние берега Печоры вдруг поблекли, стали буро-грязными и тоскливыми. Катер рыбинспекции «Люр», вспарывая черно-фиолетовую воду, дробно стучал мотором, и его монотонное «кту-кту-кту-кту» было слышно на многие километры над рекой.

На палубе, подняв высокий воротник штатского полушубка, стоял Перегудов. Был он злой как черт, грыз своими крупными зубами папиросу и плевал в пенящуюся за бортом воду. Пистолет, выданный ему под расписку, тер подмышку, и Перегудов все время поправлял его, сдвигая ближе к груди. Работал он на Севере недавно, а в помощь рыбинспекции его командировали впервые, на выходные дни, когда печорские мужички браконьерили вовсю, а рыбнадзор со своим невеликим штатным расписанием бестолково носился по огромной реке, задерживая разве что только сотую часть нарушителей.

К отходу «Люра» Перегудов опоздал, и ему пришлось заплатить свои деньги за билет и на «Ракете» догонять катер. Сошел он в Каменке и долго торговался с красноносым поджарым мужиком, чтобы тот на своей моторке подкинул его до «Люра» (катер всего полчаса назад прошел мимо деревни). И хотя Перегудов показывал мужику свое удостоверение, тот равнодушно скользил взглядом по черным, некрашеным домам Каменки и твердил свое:

— А хоть и из милиции... Бензену нету. Есть чуть, дак к брату еще ехать...

Но «бензен» сразу нашелся, когда Перегудов из двух взятых с собой бутылок водки одну предложил мужику

Глаза у того расцвели, щеки порозовели. Он сразу за-суетился, подстелил на сиденье Перегудову вынутую из «бардачка» засаленную до невообразимости телогреечку, и через минуту они уже неслись по Печоре. За первым же поворотом реки открылся огромный залив, в котором култыхалось на сонных волнах с десятков моторок. Лю-ди на них, свесившись за борт, что-то шарили руками в воде. Все они распрямились, некоторое время смотре-ли в сторону Перегудова, а потом вдруг разом, дернув за шнуры, взревели моторами и, прижимаясь к берегу, полувеером заскользили, обтекая лодчонку Перегудова.

Он поначалу даже вскочил на колени и хотел крик-нуть: «А ну, жми наперерез!» Но, бросив взгляд на ста-ренький моторчик, вяло махнул рукой. У мужичков на «казанках» стояло по паре моторов, и казалось, что днища их лодок вместе с задранными носами даже не касались воды.

— Того и гляди в небо улетят, — крикнул Перегудов, отворачиваясь. — От паразиты!.. — И потом, мотнув го-ловой в сторону уходящих лодок: — Чё они тут?

Мужик неопределенно пожал плечами.

— Сено, небось, возют...

— Что ж они, сено руками со дна реки что ли за-готовляют?

Мужик, зажав ноздрю, сморкнулся за борт и ни-чего не ответил.

2

На «Люре» кроме Перегудова было еще четверо. Правил катером небритый кадыкастый старик Семяш-кин, ему помогал моторист Володя. Было еще два ин-спектора рыбнадзора: бывший председатель колхоза Сумароков и молоденький парнишка Коля, только что закончивший рыбоводческий техникум.

Время от времени с катера бросали «кошку» на кап-роновом шнуре и перли вперед, цепляя браконьерские

сети. Сети рвались и путались, цеплялись за коряги вместе с рыбой хоронились на дне реки. Одну сетку Сумароков подцепил удачливее и вытянул ее всю полностью вместе с двумя небольшими, килограммов по семь-восемь семгами.

Когда Перегудов поднялся на «Люр», стоявший на приколе у небольшого, заросшего осокой островка, на катере обедали. Все четверо хлебали из алюминиевых чашек картофельный суп, заправленный оленьей тушенкой, вприкуску с ускользающими кусками нежной семужьей скоросолки.

— На два дня к вам на помощь, — отрекомендовался Перегудов.

— Здрасьте, — сказал моторист Володя, отодвигаясь от стола, — садись.

Но Перегудов не сел, а, шагнув к столу, вдруг сгреб вместе с газетой куски семги, высыпал их в ведро, в котором краснела крупно нарубленная рыба, и сверкнул своими желтоватыми белками.

— Шкуры, семужку жрете?

Семяшкин зарозовел старческими скулами, вскочил на ноги. Весь сухонький, жилистый, он прямо взвился перед Перегудовым, ухватился костистыми пальцами за его полушубок.

— Мы что ж её ловили, что ли?

— Нет, она сама к вам на стол из воды запрыгнула! — заорал Перегудов. — Вас охранять рыбу поставили, а вы...

Все вскочили.

— Браконьерскую сетку зацепили, дак две рыбины попало, — пытался все разъяснить Сумароков.

— Статуй чумовой! — кричал старик. — Я в войну ранен был в живот, браконьеры три раза пукали из ружей — вот как ты стоишь. А ты на меня — шкура?! Руками погаными со стола все сгребать?!

— Ага,— разозлился еще больше Перегудов.— Если ты воевал, так тебе теперь все дозволено? Никому не дозволено, а ему дозволено! Не было такого указа, чтоб фронтовики Печору грабили!

— Да пойми ты,— пытался урезонить Сумароков,— не наша сетка была. Что же, теперь рыбу выбросить, пусть пропадает, да?

Закурив, Перегудов сказал уже спокойнее:

— Мне что вас — учить? Сдать рыбу надо было. Вот придем в город и сдадим...

— Куды? — кривя злую улыбку, спросил Семяшкин.— Куды ты сдашь эти крохи?

Перегудов немного подумал.

— В ресторан. Взвесим, сдадим и получим бумагу. Все будет по закону.

— В ресто-о-ра-ан, — передразнил его старик. — Много ты в ресторане видал?

— Ничего. Я сам проверю, вся до грамма на столы пойдет.

3

Теперь «Люр», талдыча мотором, бежал по рукаву Печоры вверх, и низкие грязные тучи почти целовались с белыми гребешками волн позади катера. Перегудов стоял на палубе, курил и злился. Внизу, в кубрике, топили печку, грели чайник и пили чай. Перегудова на чай не позвали. Он проголодался с утра, весь закончен на палубе, но вниз не шел: еще не отмяк душой.

Лишь накрыв дребезжащее ведро с семгой какой-то тряпкой и плотно привязав его к ручке люка, он открыл тяжелую железную дверь рубки и простучал сапогами вниз по лестнице в кубрик. Мужики пили чай из горячих маслянистых кружек и молчали.

— Ладно,— сказал Перегудов, потирая замерзшие смуглые щеки,— все равно нам эти два дня вместе жить. Да и есть я хочу...

Развязав рюкзак, он выставил на стол бутылку водки, банку оленьей тушенки и банку кабачковой икры.

— Ну, ты, знаешь, тоже того... — примирительно заговорил Сумароков, — можно же и по-хорошему. — И, обращаясь уже к Коле, распорядился: — Иди, Колюнь, дядю Леню подмени. Пусть спускается сюда.

На столе появились еще соленая щучка, кастрюля пересыпанной сахаром морошки, луковица и хлеб. А моторист Володя, немного подумав, достал из-под кровати бутылку спирта.

Выпив и быстро захмелев с холода, Перегудов пустился в рассуждения:

— Как вы не поймете, ведь закон — он для всех закон: и для меня, и для тебя, для всех. И если ты нарушишь (обратился он к Сумарокову), тогда (показал на Семяшкина) и он захочет. А там и другой, и третий... Что получается? Получается сплошное нарушение.

— Нет, — возразил ему моторист Володя, — чудно, ей бо, получается: жить на реке и рыбы не есть. Я понимаю, когда на продажу — тут, конечно... А коли понимаешь чуток для себя, то это всем понятно. А то, ей бо, чудно получается. Так ведь?

— Ага, — откликнулся Перегудов, — получается — мы тут семгу едим да пелядку, во Владивостоке и на Сахалине крабов ловят и трепангов и трескают их за милую душу, в Молдавии все черешней обедаются, в Грузии — мандаринами... А о других подумали? Кто у чего живет, тот тем и делиться со всеми должен. Понятно? Вот наша установка. И чем больше ты отправляешь, чем честнее все трудятся, тем больше всего получают.

— Так-то оно так, — согласился Володя, макнув кусок хлеба в банку с кабачковой икрой и отправив его к себе в рот. — Ну, а если я тут мантулю-мантулю, пупок себе рву, стараюсь всю страну семгой, к примеру, завалить, а они там сидят и говорят: «Давай, давай, Вла-

димир Николаевич, гни свой хребетник, а мы тута дак объедаться будем». Тогда как?

— Так не может быть. Там тоже есть кому посмотреть... Так что не волнуйтесь и делайте свое дело тут.

Небо быстро погасло над Печорой, чернота поглотила реку и редкие невысокие леса по берегам. «Люр» уткнулся носом в берег — на отдых...

4

Первым просыпается Коля. Он разжигает железную печурку, ставит на нее высокий медный чайник. Перегудов еще некоторое время ворочается на полу под полушубком, потом, кряхтя и отдуваясь, встает, растирает затекшие бока и с хрустом потягивается. Вдвоем с Колей они пьют, обжигаясь, сладкий крепкий чай, а затем отцепляют притороченную к «Люру» моторку и стремительно мчатся по студеной реке.

Возвращаются они, когда уже вовсю светло. На катере пахнет ухой, картошкой и тушенкой. Вместе с Колей Перегудов выгружает из моторки бельевого бак и прорезиненный мешок, наполненные ошкеренной белой рыбицей и огромную, еще живую семгу. Рыбина лениво шевелит хвостом и щелкает жаберными крышками, разевая хищный, загнутый кверху рот. Когда рыбу переваливают на палубу, она вздрагивает своим беззащитным бело-перламутровым брюхом, теряя серебристые копеечки чешуи.

— Четыре акта составил, — говорит Перегудов. — А эти семгу бросили — и деру. Ну и лодки у них — супер! Мы за ними погнались — куда там! Для остратки выстрелил в воздух: думал — побоятся, остановятся. Ничего не боятся. За патрон как теперь отчитываться буду — не знаю. А мотор у вас на лодчонке — дрянь. Глохнет и глохнет...

Семяшкин допивает чай, утирает губы тряпочкой и, кося глаз на семгу, говорит:

— Ехать надо.

Вновь стучит внутри катера дизель и поет свою монотонную песню: кту-кту-кту-кту. Сумароков возится на палубе с лодочным мотором, выкручивает свечи, дует в них, пробует подсос бензина в карбюратор. Перегудов с Колей, поев ухи и картошки, ложатся отдохнуть в кубрике и, спаянные недавней совместной погоней, азартом преследования, разговаривают:

— Ты, Коля, вот что, — говорит Перегудов, — иди работать к нам в милицию. У тебя хватка есть, из тебя отличный работник получится.

— Нет, — отвечает Коля, приподнимаясь на локте и сияя своими неправдоподобно синими глазами, — мне сейчас в армию идти, уже повестка пришла.

— Тебя в десант возьмут, — оглядывая крепкую и молодую фигуру Коли, решает Перегудов. — Десант — это хорошо! Вот после армии и приходи к нам. Нам добрые и сильные ребята нужны.

— Нет, я, наверное, все-таки не приду. Я реку люблю. У меня дед рыбаком был, отец — рыбак... И я тоже решил. Работать на реке интересно... — Он умолкает, но неожиданно задорно спрашивает: — А знаете, как раньше осетров живыми в Питер возили? Их отловят, рюмку водки в пасть вольют и везут в санях, только обмоют тряпками и водой еще поливают, чтобы жабры и кожа не обсохли. Вот так их живыми до Питера и доставляли. Это нам в техникуме рассказывали.

— Ишь ты — водкой поили, надо же! — удивляется Перегудов. Но сон начинает смаривать его. Он зевает, заворачивает себе на голову полушубок и засыпает.

5

Просыпается Перегудов оттого, что «Люр» скребет днищем по песку и останавливается.

— Что?! На кошку сели?— вскакивает Коля и лезет наверх. Следом за ним поднимается на палубу и Перегудов.

— На тоню к Нефедычу решили заглянуть,— поясняет моторист Володя.

Сумароков гремит трапом, скидывая его конец, а потом и сам спрыгивает на мокрый песок. На берегу, на зеленой поляне, дымит костер, под дощатым навесом сушатся сети и оранжевые рыбацкие куртки. У костра в телогреечке и теплой шапке старичок, такой же щуплый и костистый, как капитан «Люра».

— Здравствуй, Леня, здравствуй,— говорит он, вставая, и подает Семяшкину сразу две руки, а остальным приветливо кивает.

Потом он вешает над костром мягкое черное ведро, подкладывает в огонь щепленные плашки.

— А ты ай один?— спрашивает Семяшкин.

— Один,— равнодушно подтверждает Нефедыч.— Илюшка с Гришкой запили, сукины дети. Как вчера утром ушли на моторах в Оксино, так и нет. А я чё ли на веслах много нагребу? Так умаялся весь...— Он вдруг оживляется:— А может, ребята, вы мне сетки помогнете трясти? Тройку ходок, а? Пицца пока приготовится дак... А?

— Поможем, отец, что за разговор,— решительно встает Перегудов.

Притороченная к «Люру» моторка печально покачивается на легкой волне. Мотор Сумароков так и не сумел оживить, поэтому Перегудов вместе с Нефедычем садится в большую широкую лодку с задраннным носом.

— Не лодка, а целая ладья,— шутит Перегудов, берясь за весла.— Лет двести этой посудине небось, а, отец?

Нефедыч щурится на белое сквозь туманную мглу солнце, смотрит на веселое лицо Перегудова и говорит как-то умиротворенно:

— Не рвись, не рвись веслами-то, коротенько кунай, коротенько...

Уже через пять минут плечи у Перегудова начинают каменеть и пальцы, крепко обхватившие гладкую рукоять весла, затекают. Он старается грести ровно, глубоко и сильно, но весло часто срывается, чиркая по волне и бестолково брызгая холодной водой. Когда лодка добирается до первой сетки, Перегудова от напряжения начинает потихоньку трясти. Утирая мокрый лоб, он прерывисто дышит, но еще улыбается и говорит, стукнув ребром ладони по борту:

— От и тяжеленная чертяка.

— Держи нос вдоль сетки, так-так-так.— Перегибаясь через борт, старик цепко хватает поплавок и ровно, размеренно вытягивает снасть.— Держи, держи нос, только держи, не греби...

Пахнет водорослями и свежей рыбой. Тяжелая сетка с бьющейся в ней серебристой зельдью скоро заполняет широкое днище лодки, а Нефедыч все тянет и тянет сети, мокрый ворох их все растет и растет. Наконец мелькает край сети и груз на веревке. Можно плыть назад. Но тяжело осевшая лодка, кажется, вовсе не движется, хотя Перегудов сереет от напряжения лицом. Он оборачивается, находит взглядом костерок на берегу, и ему кажется, что до него грести еще тысячу верст — так тонок и мал его голубоватый скрученный дым. Теперь уже деревенеет вся спина, будто надломленная в поясице, ладони саднят, а лицо горит непрестанно и жарко.

— Легше, легче, отдохни чуток,— уговаривает его Нефедыч.

Но Перегудов упрямо гребет и гребет, уже ничего не чувствуя и ничего не слыша, гребет в каком-то отупении, думая только об одном, что надо обязательно выгрести.

Когда лодка с разбега скребется днищем о песок,

Сумароков и Коля подхватывают ее за борта и тянут на берег.

— Ну ты даешь,— говорит Сумароков Перегудову,— прешь, как дизель.

Тот едва переваливается через борт и шатаясь идет к костру. В висках у него стучит, а перед глазами плавают коричневые с золотисто-зелеными ободками мушки. Он тяжело садится на камень и смотрит, как внизу Коля, Сумароков и Нефедыч разбирают сети, выпутывая из них зельдь.

— На камне не сиди,— говорит моторист Володя,— геморройймаешь,— и сует под Перегудова телогрейку.

Перегудов бурчит что-то вроде того, что все это ерунда, но от телогрейки не отказывается. Он достает папиросу — хочется курить, а рот полон клейкой слюны, которую никак не сплюнуть.

— Вовка,— говорит Семяшкин, подходя к мотористу,— йоду принеси. Вон у него все ладони в кровянке.

— Ниче...— отнекивается Перегудов.

— Кой ниче, дура,— незло поправляет Семяшкин,— все руки стер. Дай-кось...— и мажет ему ладони йодом.

Перегудов кривит губы, потом, подождав, пока подсохнет сукровица, осторожно прячет руки под мышки и опять идет к лодке. Рыбу уже выбрали, распутанные сети сушатся на вешалах, и он хочет опять залезть в лодку, но Нефедыч останавливает его:

— Спасибо, спасибо, милоч, отдыхай! Наломался с непривычки, чай... Мы с Леней вон сходим. Сходим, Лепя?

Семяшкин, раскорячившись, упирается в лодку плечом, сталкивает ее и уже на ходу переваливается через борт. Старики усаживаются рядом и, попеременно опуская весла в фиолетовую воду, гребут легко и о чем-то весело переговариваются — их голоса далеко слышны над водой.

Две ходки они сделали без всякого напряжения, потом еще выбирали из сетей рыбу, носили ее ведрами под навес, ссыпали в высокие деревянные кадушки и развешивали на ветру сети. А после этого все вместе ели прямо из ведра разварившихся нешкереных, нежно жирных зельдей, черпали деревянными ложками густую, как студень, юшку.

Когда стали прощаться, Нефедыч приволок ведро свежих зельдей.

— Гостинец вам,— подал перегнувшемуся с «Люра» Семяшкину.

Все почему-то посмотрели на Перегудова, но тот собирался в это время закуривать и отвернулся, хоть ветер дул не с берега, а с реки.

Дед Мелешка живет в старом татарском доме. Крыша дома покрыта красной черепицей, напоминающей по форме половинки кувшинов. Посреди дома аккуратно выложенный камнем и обмазанный глиной очаг, на котором когда-то варили себе конину потомки Чингисхана. Для деда Мелешки очаг — пустое место, в которое он бросает выкуренные «козьи ножки». Дом делится на женскую половину и мужскую. В мужской живет сам дед Мелешка, а в женской — его жена, бабка Ира. Сад у деда Мелешки огромный и занят исключительно вишней и помидорами. Теплой крымской зимой дед Мелешка ползает по грядкам, весь вымазанный черноземом, кричит, жалуясь на поясницу, и тихо матерится про себя, но ни один кустик рассады не ломает и не помнет. И уже весной, наняв грузовик, везет продавать первые помидоры в Симферополь. Помидоры расхватываются отдыхающими в один день, и назад дед Мелешка везет целый чемодан мятых трешниц, пятерок, червонцев. Вишню дед не продает, из вишни он делает вино, которое пьет каждый день графинами: один графин к завтраку, один к ужину и один в обед. Пить из других сосудов дед Мелешка не может.

Бабка Ира, не в пример другим совхозным бабкам, никогда не ругается.

— Мелеш, Мелеш, пойдем домой, — скороговорит обычно она и тянет деда Мелешку с улицы. — Выпил — и молодец. Мелеш, Мелеш, держись, яма тута. Мелеш, Мелеш, родненький...

Примерно один раз в месяц на деда находит просветление, и он бросает пить, причем бросание это сопровождается ритуальным разбиванием графина. Дед подходит к железобетонной свае, невесть зачем зарытой во дворе, размахивается со всего плеча и с гаканьем ударяет графином о сваю так, что стеклянные брызги

летят аж через забор. На следующий день утром дед Мелешка становится тихим и грустным. Он вздыхает, пробует вытесать подпорки для вишен, но все валится из рук, и он виновато топчется перед бабкой Ирой, а потом выдавливают, глядя в сторону моря:

— Слышь, мать, ты бы, што ль, в сельпо сходила. Графин бы купила, што ль.

Бабка Ира идет в сельпо и покупает такой же графин с розовыми колечками у горлышка. Она уже скупила почти все графины, за исключением того, что в сельсовете, и еще одного, который в клубе.

На все случаи жизни у деда Мелешки одна песня, если ее можно назвать песней — так себе, полчастушки:

Дуня, Дуня, Дуня, я

Дуня, ягодка моя.

Вот и все. Эту свою песню Мелешка может петь по-грустному и по-веселому, смотря какое настроение.

До моря недалеко, километров шесть. Рано утром дед Мелешка садится на свой велосипед и катит к морю. Велосипед дамский, старенький, но смазанный во всех ответственных узлах, а потому безотказный. Мелешка не любит отдыхающих и вообще не любит, когда на песке навалено столько людей, что пройти нельзя. Он раздевается до трусов, которые самую малость прикрывают колени, и «для начала» ходит около воды по прохладному песку. Тело у Мелешки дряблое и белое, загорелые только руки до локтей и лицо, так что издали кажется, будто он в маске и перчатках. Но силенка у деда Мелешки еще имеется. Он разбегается, кричит набор сплошных гласных «э-ю-и-я-э-эх!» И с «эх», поднимая вокруг себя брызги, плюхается в море и плывет, плывет плавно и красиво.

Группами и по-одному спускаются к морю и первые отдыхающие. Дед Мелешка вылезает из воды, натягивает на мокрые трусы штаны и ведет велосипед за руль. Ехать вверх трудно. Он часто останавливается, отды-

хает и думает о том, что сегодня в совхозе свадьба. Женится внук его старого приятеля Ларина, хороший внук Валерка. Дед утирает рукавом то ли лоб, то ли глаза и идет дальше. Единственное утешение деда Мелешки и бабки Иры — внучка Люська, да и та глаз не кажет. А где их сыны? Нет ни Шурки, ни Васьки, ни Кольки, ни Костика.

Шурка и Колька погибли сразу же в сорок первом, даже в один и тот же месяц, только одиннадцать дней и разницы-то между похоронками.

За Ваську и Костика бабка молила бога каждый день, ставила свечи в церкви. Дед Мелешка не верил в бога, но тоже, ложась спать, накрывался с головой одеялом, чтобы не видела бабка Ира, и под одеялом крестился и плакал. Ваську убили в конце войны в Ростове. А Костик, самый старший, прошел всю войну танкистом — и ни одной царапины. После войны еще два года носил Костя старшинские погоны, а в сорок седьмом вернулся на счастье деда Мелешки и бабки Иры, заброшенных эвакуацией в приморский совхоз. Тут и остался Костя: устроился шофером, женился. А через год родила Костина Лида девочку, которую отец назвал Люськой. Живи и радуйся, дед Мелешка...

Только тот июльский день дед Мелешка запомнил на всю свою стариковскую жизнь. Сидел он тогда за столом, яичницу ел с помидорами. Слышит, Ларин кричит во дворе: «Карпыч, Карпыч, Костюху твою...».

Дед Мелешка останавливается, пробует темным от земли пальцем с завернувшимся ногтем шину и снова идет и смотрит, как крутится колесо с маленькой резиновой заплаточкой сбоку.

...Заехал Костя в МТС, чтобы деталь для машины заказать. А токарь точил что-то на станке, и то ли лопнула эта деталь, то ли выскочила она из зажима, да только угодила она Косте в голову, Косте, которого за всю войну ни разу не поцарапало. Лидка с год пожила

еще в совхозе, плакала, цветы носила — Косте на могилу, да только баба она молодая, а время оно и есть время. Уехала Лидка в Рязань. Замуж там вышла. И мужик у нее толковый, и Люську, как свою, любит, но деду Мелешке от этого не легче.

Люська в Горьком учится, в институте. В Люське вся династия деда Мелешки, фамилия и род. Вот и живет старый дед Мелешка на белом свете, продает помидоры, чтобы потом каждый месяц посылать Люське по сто рублей.

А может, и приедет Люська в августе, чтоб ее грач заклевал, может, и приедет деду на радость. Отдохнула бы тут, тут хорошо. А то посылают летом куда-то работать... Трудовой семестр называется, как будто остальные не трудовые.

Теперь дорога идет ровная, и дед Мелешка садится на велосипед и, семена левой ногой по земле, отталкивается и давит на педаль...

Со свадьбы Мелешка возвращается один, хвативши много больше нормы. Бабка Ира давно уже спит. Домой идти неохота, и он садится на перевернутую корзину, которая валяется под вишней перед домом, и думает. Думает о том, что давно надо бы умереть, да только никак все не получается. Детей давно уже нет в живых, а я, старый дурак, все небо копчу. Дед Мелешка вспоминает свою молодость, вспоминает, что на самом деле его зовут Емельяном Карповичем... Да только кому до этого дело? Он сидит на корзине и смотрит в низкое южное небо, полное больших чистых звезд. Тихо и покойно вокруг. Но деду Мелешке грустно, и он по-грустному поет:

Дуня, Дуня, Дуня, я,
Дуня, ягодка моя.

Этой дорогой я хожу все реже и реже, и мне все мучительнее ходить по ней. Хотя какая это дорога — всего три минуты ходьбы...

Надо только выйти из трамвая у того киоска, который когда-то был аптечным, а теперь в нем торгуют газетами, и пройти мимо овощной палатки, свернув потом за магазин, тот самый крошечный магазинчик, в потолке которого тщательно замазана и забелена дырка от пули.

...Кассы тогда были здесь высокие, со старинными канделябрами, витыми металлическими планками и крошечными резными окошками. Он вошел в магазин, стрельнул в потолок и приказал всем лечь на пол лицом вниз. Лег и я, зажимая в потной ладошке мятый большой рубль, на который хотел купить «букашек» (так я почему-то называл тогда зефир).

Все произошло очень быстро. Взяли с собой налетчики немного. Вторая кассирша как раз считала деньги и вместе со всей выручкой — двадцать шесть тысяч — кинулась через черный ход и убежала. Было ли у нее двадцать шесть тысяч, не знаю. Может быть, сумму и преувеличила людская молва, но то, что кассирша убежала, прижимая к груди пачки тех еще старых денег, — это точно.

Потом прибежала перепуганная бабушка Лена с двумя моими тетками (обе еще совсем девчонки), и они стали осматривать меня и голосить, как по покойнику. А я вырывался от них и все хотел убежать назад, в магазин, посмотреть на дырку в потолке. Было мне тогда лет пять-шесть.

...Я сворачиваю за магазин и вижу мой корпус. Раньше никто не звал эти двухэтажные розовые баракы домами: корпус и корпус — и все тут. Справа такой корпус уже снесли, и теперь вся вереница сарайчиков с

пустыми голубятнями и огромным старинным парком за ними как на ладони. Скоро сломают и корпус 11-а, понаставят здесь высоченные и однообразные дома, и заглохнут, напрочь сотрутся с лица земли стежки-дорожки моего детства. Может, оно и к лучшему... Я люблю и ненавижу этот корпус 11-а, где теперь живут одни только полуслепые старухи да фронтовик-инвалид Ваня, промышляющий тем, что выходит каждый день на своей культе к магазину с пустым стаканом и тройкой ядовито-соленых огурцов.

Мне жалко до слез всех этих людей, не умеющих постоять за себя и не помышляющих о том, что можно как-то ловчить и приспособливаться. Никто из них так и не сумел устроить свою жизнь, свой быт, свое счастье. Молчаливо, покорно несут они свой нелегкий крест и считают, что все в мире справедливо и мудро.

Помню, из семи семей, живущих на первом этаже, только Красильщиковы имели две комнаты, остальные — по одной. Но именно семья Красильщиковых, самая шумная по праздникам, когда пели у них гости и кричал патефон про «чубчик кучерявый» да «как на последнюю пятё, пятё, пятерочку...», именно эта семья получила первый ордер на квартиру в новом доме. Это в середине-то пятидесятых, когда с жильем было ой-е-ей. Не получила квартиры тетя Ариша, муж которой положил голову в рядах тульского рабочего ополчения, оставив ей на руках двух дочерей. Не получили квартиры и слепая тетя Поля, и дядя Ваня-фронтовик. Не получила квартиры и моя бабушка Лена, оставшаяся зимой сорок третьего без мужа с пятью ребятами, самому младшему из которых — дядьке Юрке — было тогда два года. Может, пиши они письма в «Правду», ходи чаще в завком или на прием к депутату — может, и вышло бы что с новой квартирой. А они не писали и не ходили, только говорили: «Сейчас-то, после войны, кому сладко? Руки-ноги целы, сами живы — и то хорошо». И не

ходят, и не пишут по сию пору, полагая, что начальству сверху виднее, и коли им не дают, значит есть такие, кто много хуже их живет... Да что там говорить! У них случись ночью сердце прихватит — так умоляют: только не надо «карету» вызывать, не надо врачей попусту тревожить...

Я подхожу к корпусу 11-а и останавливаюсь, обняв его шершавый облупленный угол. Между деревьев еле двигается в больших калошах на босу ногу и вешает белье на веревки моя старая-престарая бабушка Лена. Как долго она наклоняется к тазу, как долго вынимает из него свою линялую кофточку и тянется к веревке.

— Бабушка, — чуть слышно окликаю я ее, — бабушка моя милая!

Она вздрагивает, оборачивается ко мне и так прямо с кофтой в вытянутых руках, как слепая, идет в мою сторону.

— Саша, господи, Саша! Приехал, голубчик, — шепчет она и спешит ко мне, спотыкаясь в своих больших калошах.

Я подхватываю ее, легонькую, как перышко, и вместе с мокрой кофтой прижимаю к своей груди. Я глажу ее маленькую, почти детскую голову, целую ее седенькие редкие волосы и шепчу:

— Ба, ну что ты, ба...

А она тихо плачет.

— Я уж думала, что не увижу тебя боле, думала вот-вот помру. Плохая я стала, Саша...

Мы идем в дом, и бабушка по дороге сообщает мне, что умерла тетя Ариша (весной похоронили), жалуется на дядьку Юрку (все пьет), на мою мать (не едет и не пишет), на мою двоюродную сестру пятиклассницу Лену (не слушается).

Мы входим в нашу высокую двенадцатиметровку, и я жадно вдыхаю знакомые, неистребимые запахи этой комнаты. Я не знаю, чем и как здесь пахнет: стенами

ли, цветами на подоконнике, старенькими дерюжками на полу, черным комодом или вот этой круглой из ниток салфеткой на столе. Я знаю лишь одно, что так пахнет только здесь. Бабушка достает с подоконника из-за цветочных горшков большое антоновское яблоко и протягивает его мне.

— На вот... Это меня Лида угостила... Ешь...

Я оглядываю нашу комнатку и нахожу, что с последнего моего приезда здесь ничего не изменилось. На столе на своем обычном месте ровно пульсирует будильник — вот уже лет пятнадцать он работает только лежа и лицом вниз: если поставить его на рогатые ножки, через минуту-другую он затихает. На месте диван, вешалка, стулья — здесь давно ничего не меняется.

— Ну как там — холодно, Саша? — спрашивает бабушка. — Забыла, как город называется...

— Нарьян-Мар, — подсказываю я. — И вовсе не холодно, если только так, самую малость.

— А войны-то, не слыхал, не будет?

— Не будет, ба.

— Дай бог, дай бог.

Глаза у бабушки сидят в глазницах глубоко, не цветут уже, а тлеют...

— Народ-то там добрый?

— Хороший народ, ба, хороший.

— А у нас народ хужей стал, прижимистее, сердитее...

— Это как так?

— А так. Раньше вон у Дулиных девять душ ребятни, а поросенка зарежут — по всем соседям пройдут, понемножку, по крошке, а всех сальцем оделят, угостят. Теперь не так... Теперь все по домам сидят, телевизоры смотрят. У нас тут раньше, помнишь, весь корпус вывалит под вечер на улицу — и поют, и разговаривают, и семечки щелкают, смеются... Или Клаша Копова как запляшет, запоет ни с того ни с сего частушку,

да тут же и заплачет. Раньше дружной были. Теперь вот в трамвае едешь, билет просишь передать, а все отвертываются... Молодые, Саша, хуже становятся. Я думаю, от войны все это, от ее проклятой...

— А причем же здесь война, ба?

— Не скажи, не скажи... В войну самые хорошие, самые сознательные первыми под пули шли... Когда теперь еще таких нарожают? Если бы не война, если бы не она проклятушая!

Бабушка вытирает слезы. А я вскакиваю и начинаю доставать из портфеля подарки: небольшой кусок семги, привезенный мной с Севера, да купленные на местном базаре груши, хурму, букет осенних цветов. И еще книгу, толстую зеленую книгу.

— Вот,— говорю я,— здесь напечатан мой рассказ, ба.

Бабушка берет раскрытую книгу и, улыбаясь, своей пергаментной рукой гладит страницу.

— А фамилия-то твоя здесь стоит?— вдруг спрашивает она, совсем ничего не видя.

Я успокаиваю ее, что фамилия на месте, и она кивает головой, мол, слава богу, слава богу. Вместе с книгой и цветами бабушка идет на кухню, чтобы, как она говорит, налить в кувшин воды.

— Цветы будут стоять в кувшине,— сообщает она и торопится, спешит, но еле движется к двери.

Уже на пороге она оборачивается.

— Ты через пяток минут соль принеси мне, Саша.

— Я знаю, что никакая соль ей не нужна. Сейчас она соберет на кухне всех соседей и будет показывать им мой рассказ и цветы. А потом буду должен показаться и я сам, чтобы все захоли, заудивлялись и сказали, что я вылитый отец и что, слава богу, вышел в люди. И я не могу отказать бабушке в этом маленьком кухонном спектакле.

Потом мы пьем чай с королевским вареньем из крыжовника. Чай крепкий и пахучий, а бабушкина чашка стынет и стынет. Бабушка сидит, уронив руки на колени, и глядит, глядит на меня.

— Саша,— говорит она,— ты не приезжай, когда я помру... далеко.

— Что ты такое говоришь, ба? Живи долго!..

А у нее опять слезы по щекам, и медленно тянется рука с мятым платочком, чтобы утереть эти слезы.

— Если б не война, Саша, если бы не война...

Руки бабушки на сгибах, где находятся вены, вздуты черно-фиолетовыми пятнами. Когда бабушкин муж, токарь, умер в сорок третьем году от голода прямо у станка на оружейном заводе, ей одной пришлось поднимать пятерых детей. Самой старшей из них — моей маме — было пятнадцать лет. И чтобы всех прокормить, бабушка и мама с вечера становились в очередь на сдачу крови, мечтая о том, чтобы их не сочли слабыми, только бы не сочли слабыми и взяли не 225, а 450 граммов крови. За 450 граммов можно было получить сказочное богатство: целые шестьсот граммов хлеба, целые двести граммов масла и немножко крупы. Только бы их не сочли слабыми, только бы не сочли... Но маму выставляли из очереди вообще, а у бабушки брали только 225...

А потом они ходили «по борушкам». Осенью, когда уже на полях урожай выбирался весь подчистую, сотни людей пальцами перепаживали эти поля вновь и умудрялись находить в холодной тяжелой земле картофельные корешки и картофельные обрезки.

Сами ездили в лес за дровами. Грузовые трамваи ходили до Косой горы, и если случалось на таком трамвае проехать через весь город, считалось — привалило счастье. От Косой горы с саночками надо было пройти пяток-другой километров. А когда домой вернешься, тебе уж и без огня жарко: весь горишь, как в лихорад-

ке, ноги подгибаются, руки дрожат... А через минуту озноб, и ледяной холод дерет по спине...

Но бабушка растапливает печь, и все греются у ее огня и ждут, когда же закипит вода в чугушке с картофельными орешками. А пока бабушка тоненькими ломтиками нарезает развороченные осколком полбуханки хлеба, того самого хлеба, который мама, зажав под мышкой, несла из магазина домой. Снаряд ударил далеко впереди, мама только почувствовала, как вытолкнуло, вырвало у нее из-под руки хлеб. Теперь мама сидит у печки, греется и никак не может согреться — так она замерзла еще тогда, когда они полоскали зимой с бабушкой белье на Упе. Мама соскользнула в прорубь, и ее несла, ломала и душила подо льдом река, пока у другой проруби ее не ухватил и не выволок наверх какой-то мужик, тоже полоскавший белье. С тех пор мама боится воды.

...Я просыпаюсь рано и, еще не открыв глаз, чувствую, что я дома, у бабушки. За окном стоят осенние предутренние сумерки. Бабушки в комнате нет, верно, уже хлопочет на кухне, нашей большой общей кухне.

Раньше, когда я был мальчиком, в кухне на каждом из столов голубым огнем горел примус. Я просыпался и слышал, как они ровно гудели и как бабушка командовала моим тетюшкам:

— Девки, керосин привезли. Быстро за керосином!

И с бидонами, с жестяными банками и бутылками маячили в сумерках за окном женщины. Почему-то только женщины, и почти все в жестких темно-серых платках мелкой кольчужной вязки. Эти серые платки послевоенной Тулы — целая эпоха.

По утрам сквозь полусон-полуявь слышал я, как весной за окном свистел и вгонял в небо своих белых турманов Витька Голышев, как шли через парк, мимо нашего дома, на базар, о чем-то громко судача, рогожиш-

ские бабы, как однотонно и протяжно кричали в парадном: «Ко-о-о-му квашенки!»

И еще вспоминается смешливый дед в картузе, с темным мешком за спиной, которого я так ждал у раскрытого солнечного окна, чтобы крикнуть ему: «Чтобы тебя елками захлестали!» А он снимет картуз, поклонится и так же весело ответит: «Чтоб тебя грач заклевал!» У этого окна я всегда ждал бабушку с работы. Там, впереди, поляна, с одной стороны которой распахнулся наш дикий и заросший столетний парк, а к другой примыкает угол барака, и посреди — одинокая и высоченная голубятня. В пору моего детства все просто с ума сходили с этими голубями, а теперь их здесь никто не водит, некому водить.

Отшумел, отплакал, отпраздновал все свои свадьбы, отпел, отплясал наш поселок. Ломают, сносят теперь здесь дома, именуемые корпусами. Чаще всего к оставшимся корпусам подъезжает разве что «скорая помощь» да изредка грузовичок с полоской траурного кумача по борту...

Дверь открывается, и входит бабушка.

— Саша, ты спишь? — спрашивает она.

— Доброе утро, ба!

Она зажигает свет и на вытянутых руках несет мои выстиранные и еще теплые от утюга рубашку, носовой платок, носки...

— Ну зачем ты, ба? Стоило ли из-за этого вставать чуть свет?

— Ничего, — говорит довольная бабушка, — ничего... Я тебе твоих терунков напекла, вставай, пока горяченькие.

Я ем, обжигаясь, немисливо вкусные картофельные теруны, запиваю их чаем, а бабушка, положив руки на скатерть, смотрит и смотрит на меня.

— Что же ты сама-то ничего не ешь, ба? Попробовала бы рыбу, которую я тебе привез. Царская рыба!

— Спасибо,— говорит бабушка,— я уж кусочек отщипнула, когда утром Полю и Вальку угощала. Надо еще Лидке с Нинкой оставить. А может, и Юрка нынче зайдет, обещался...

Бабушка вдруг тускнеет и спрашивает:

— Ты сейчас ведь уедешь, Саша?

И опять мне делается тяжело, мучительно тяжело на душе.

Я целую сухую холодную руку бабушки и тихо говорю:

— Надо, ба.

— Куда ж теперь? К матери?

— На недельку к матери. Потом с семьей на юг, а оттуда на самолете напрямую на Север.

— Несчастливый ты у меня, Саша,— говорит вдруг почему-то бабушка и опять плачет, плачет, плачет.

Я пытаюсь было возразить, что, мол, ничего подобного, даже стараюсь хохотнуть, но все это у меня получается жалко и грустно. А бабушка наказывает мне, чтобы я не бросал семью, жил дружно, не хвастал, не гордился, чтоб в беде был у людей на виду, а не таился, не прятался, чтоб берег себя от морозов на Севере, чтоб передал матери — пусть пишет, а то, может, и приедет.

Потом она встает и долго идет к черному комоду, долго выдвигает ящик.

— Я тут вот бумажку схоронила, писано тобой. Думаю, вдруг что нужное...

И протягивает двойной лист в клеточку, на котором еще школьное мое сочинение о Дубровском.

— Нужное?— спрашивает она, заглядывая мне в глаза.

— Очень,— говорю я, поспешно складывая и пряча листки в карман.

А бабушка опять копается в ящике и из-под стопки чистого белья вынимает деньги, три синенькие пятерки, и протягивает их мне.

— Возьми,— говорит она.— Хотела себе на похороны отложить, но ты возьми.

— Что ты, бабушка, что ты!..

— Не обижай, Саша, возьми...

Господи, да разве можно такое вытерпеть? Тут и у меня щиплет глаза, и я сдавленно шепчу:

— Бабуся, милая, не мучай меня, спрячь, пожалуйста, свои деньги, ради бога, спрячь...

Она со вздохом кладет пятерки на прежнее место и идет проводить меня до улицы. Я не отговариваю ее, потому что знаю — все равно не отговорю. В парадном холодно. Зимой в подъезде так удивительно пахнет снегом, его морозной свежестью, что мгновенно пьянеешь. Но сейчас не зима, а осень, и вся земля у парадного испятнана красными кленовыми листьями. Парк-то вон он, рядом. Пламенеют огромные клены, синеют темно-каменные дубы, словно россыпью медных копеечек окружены березы... Мы доходим до угла нашего корпуса, и я думаю: только бы не забыть прислать бабушке с Севера оленьи, или нет, лучше нерпичьи тапочки, только бы не забыть... Не то будут до последнего срока преследовать и мучить меня своей худобой эти восковые бабушкины ноги в больших старых калошах...

Не могу уйти сразу, не могу.

— Ты иди, Саша, я не буду плакать,— говорит бабушка,— я не буду плакать.

А сама уже плачет и тянет ко мне дрожащие руки, пытается приподняться на цыпочки, чтобы поцеловать. Я наклоняюсь к ней, и она непослушными губами припадает к моей щеке и опять шепчет:

— Я не буду, не буду плакать, Саша, только ты не бросай меня, голубчик мой! Я постараюсь не умереть эту зиму, только ты возвращайся! А теперь ступай. Спасибо тебе.

Я делаю несколько шагов, оборачиваюсь и вижу, как моя бабушка Лена, никогда не верившая в бога, мелко

крестит мне спину. Я машу ей рукой и еще раз оборачиваюсь только у самого магазина, в потолке которого тщательно замазана и забелена дырка от пули. Я оборачиваюсь и вижу мою бабушку возле нашего корпуса, цепочку черных старых сараев, старый парк и перед ним поляну, заросшую крупными поздними ромашками...

Это все и есть моя родина, как принято сейчас говорить, малая родина. Я знаю, что есть места красивее и величественнее, веселей и примечательней, но мне всегда снятся эти места, и иной Родины для себя я не хочу и не могу представить.

СОДЕРЖАНИЕ

Дожди в августе	3
Среди мелькания дней	5
...И долго не гаснет	8
Орлиха :	19
Автобиография	25
Я не должен его жалеть	30
Полные копытца водицы	34
Печаль под колеса ,	43
Лучшее время жизни	59
Ожидание	69
Шаман-дерево	73
Текусья :	94
На «Люре»	100
Дуня, ягодка моя	111
Возвращайся, голубчик!	115

Меситов Александр Михайлович

ДОЖДИ В АВГУСТЕ

Р а с с к а з ы

Рецензент

Н. А. ЖУРАВЛЕВ

Редактор

В. К. ЛИХАНОВА

Художник

Н. С. ЗАИЧЕНКО

Художественный редактор

А. С. МАЗУРИН

Технический редактор

Н. Б. БУЙНОВСКАЯ

Корректор

Г. В. СМАГИНА